МИХАИЛ КОНОВАЛЬЧУК • СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ

Время печали еще не пришло
Михаил Коновальчук • Сергей Сельянов

А

В России постоянно присутствует ожидание чуда. Ожидание не истерическое, а достаточно спокойное. Как должное. И в жизни наших героев оно присутствует.

Когда-то я прочитал, что Ван Гог ел краски. Я это понимаю.

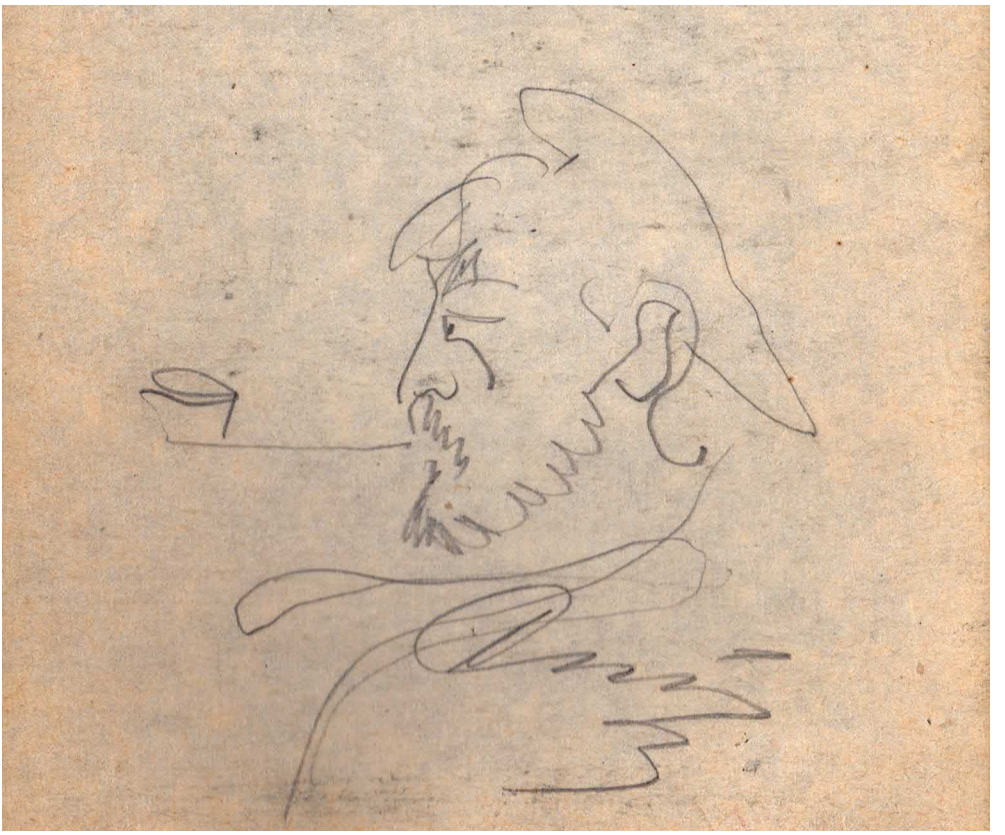
Да, тоска какая-то есть по тем временам. Вернее, не по временам, а по иллюзиям, которыми мы тогда жили. Будто повернется ключик, куклы выскочат и запляшут. Раньше критерий был один: если ты в оппозиции к системе, то ты свой. А в оппозиции были почти все, по крайней мере, творческие люди. В известной мере сегодняшнее время застало нас врасплох, хоть и приятно, наверное, думать и говорить, что мы его приближали своим противостоянием. Думаю, нет. Противостояли мы органично, естественно, это была потребность, способ существования. Золотой ключик не сработал. Повернуть-то его повернули, а дверца не раскрылась.

У нас в деревне живут русский, татарин, еврей, цыган и немец. А Россия – это что такое? Некое пространство, где разные нации живут.

Поэтика непроизвольно рождается из предлагаемых обстоятельств. Художник действует в предлагаемых обстоятельствах.

Когда речь идет о воспоминаниях, совершенно непонятно, что когда было – всё сходится как бы в одной точке. В сегодняшней, впрочем. Когда мне было лет пять, я спросил у мамы, а брал ли меня отец с собой в самолет, – отец у меня был летчик-истребитель. Мать, конечно, сказала, что брал, мол, когда тебе был один годик, отец тебя перевозил на самолете. Потом, уже лет в четырнадцать, я сообразил, что куда же ребенка годовалого в военный самолет? Но до сих пор у меня самое яркое переживание – это момент того полета в том самолете. Я знаю – я летал.

A·Q·U·I·L·O·N
А·К·В·И·Л·О·Н



Серия :Tesseræ: Series
vol. 2

Михаил Коновальчук
Сергей Сельянов

# ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО

Предисловие Алексея Германа

Послесловие
Джулиана Граффи и Андрея Устинова

«АКВИЛОН»

Сан Франциско
2016

Составление и подбор иллюстраций Андрея Устинова
Обложка и оформление Станислава Гроздилова
Дизайн и макет Стина Воу

В издании использованы редкие любительские фотографии из собраний Михаила Коновальчука и Сергея Сельянова.

Редактор: Андрей Устинов

На фронтисписе воспроизведен рисунок Михаила Коновальчука «Портрет Христофорова» (1990, карандаш; частное собрание).

© Джулиан Граффи, 2016
© Светлана Кармалита, 2016
© Михаил Коновальчук, 2016
© Сергей Сельянов, 2016
© Андрей Устинов, 2016
© Издательство «Аквилон», 2016
Все права сохранены.

Copyright © 2016 by Julian Graffy
Copyright © 2016 by Stanislav Grozdilov
Copyright © 2016 by Svetlana Karmalita
Copyright © 2016 by Mikhail Konoval'chuk
Copyright © 2016 by Sergei Sel'ianov
Copyright © 2016 by Andrei Ustinov
Copyright © 2016 by Steen Waugh
Copyright © 2016 by AQUILON Books
All rights reserved.

ISBN-10: 1523303034
ISBN-13: 978-1523303038

# Кино начинается с рукописи
# ( Предуведомление )

Кинопроза – уникальный жанр литературы. Это история, придуманная для экрана, в надежде, что из нее получится фильм, но еще не обращенная в съемочный сценарий и не испытавшая пертурбаций режиссерской разработки. Это одновременно материал для чтения и предоставленная возможность сравнить, что и как воплотилось из написанного в готовом кино. В данном случае, в фильмах «День Ангела» (1989) и «Время печали еще не пришло» (1995) Михаила Коновальчука и Сергея Сельянова.

В отличие от знаменитого «Дня Ангела», уже публиковавшегося дебюта этого кинематографического тандема, ставшего первым опытом советского подпольного кинематографа, а также проложившего путь развития и предсказавшего метаморфозы позднесоветского «параллельного кино», рукопись «Времени печали» (изначально озаглавленная «И умереть в Париже») долгое время считалась пропавшей.

Разумеется, рукопись просто так исчезнуть не могла.

Мы искренне благодарны Сергею Сельянову за самоотверженное путешествие на чердак, где в результате поисков по всем ящикам, сундукам и комодам, была обнаружена та самая машинопись (сохранившаяся в единственном экземпляре), которая превратилась в сценарий этапного фильма 1990-х годов. Мы также благодарны Михаилу Коновальчуку за авторскую подготовку рукописи «И умереть в Париже» к печати.

Здесь эта «маленькая повесть для кино» публикуется впервые. Ра́вно, как и эссе (скорее, *tribute*) Мих. Коновальчука «С Т В – 25», написанное специально для настоящего издания.

Мы признательны критику и историку кино Джулиану Граффи за его участие и советы, Светлане Игоревне Кармалите за возможность напечатать предисловие Алексея Юрьевича Германа, продиктованное с дивана, и Александру Тягны-Рядно, любезно предоставившему превосходную фотографию этого легендарного дуэта.

Спасибо всем, кто не забыл пост-советский кинематограф 1990-х годов, который начался «Днем Ангела», а закончился картиной «Хрусталёв, машину!», и, как и мы, готов пересматривать фильмы Сельянова-Коновальчука, а теперь и читать их кинопрозу.

*Издательство «Аквилон»*

© Александр Тягны-Рядно

Светлана Кармалита и Алексей Герман
на картине «Хрусталёв, машину!».

Фотография Александра Тягны-Рядно (1993).

# Предисловие

Не секрет, что наш кинематограф переживает недобрые времена...

Объясняют это по-разному. Одни так, другие эдак.

Мне же кажется, дело просто-напросто в почти полном отсутствии людей, про которых можно сказать, не покривя душой – *высокоталантие*.

Поколениям не удалось сменить друг друга, старшие одряхлели или вообще ушли от нас, идущие же им на смену не образовались. Из-за отсутствия заказов, поддержки, из-за потери собственных внутренних ценностей, да и мало ли еще чего.

Где-то там вдали может и маячат будущие художники, но разглядеть их пока трудно.

Самые большие утраты понесло святое святых в кинематографе – кинематографические писатели, на профессиональном языке – киносценаристы. К ним просто стали весьма мало обращаться. У современной режиссуры возникло неверное, на мой взгляд, ощущение самодостаточности своих мыслей, своего умения создавать экранный мир.

Среди двух-трех уцелевших кинописателей я сегодня абсолютно честно на первое место поставил бы Михаила Коновальчука.

Личных взаимоотношений у нас практически нет, меня нельзя упрекнуть в кумовстве.

Мысль о первенстве Коновальчука в сценарном деле пришла мне в голову по прочтении «Дня Ангела», и в дальнейшем практически никогда меня не покидала.

Он способен создавать миры, из машинописных строчек выглядывают глаза его героев – мне почему-то сдается, – напуганные, иногда наглые, но всегда живые.

Коновальчук набит идеями. Мне кажется, они бренчат в нем, как монетки в копилке из моего детства...

Мало, кто знает, кто такой Михаил Коновальчук.

– Э-э-э, – скажут многие, если прочтут эти строчки, – ну не надо уж так...

Это «э-э-э...» за свою уже долгую жизнь я слышал не раз. В самой юности – по отношению к Евгению Шварцу (смешно и противно вспоминать), – а позже – по отношению к Александру Володину. И говорили-то это мне не «литературные или театральные бомжи».

Я часто цитирую из сценариев Коновальчука то ту, то другую фразу или мысль.

«Цыгане, – воспроизвожу по памяти, – вышли из Индии много тысяч лет тому назад, имея перед собой какую-то огромную прекрасную, благородную цель. За тем и пошли. Но так долго шли и так устали и столько проблем, что цель эту, ну совсем, ну начисто позабыли. И нынче поют, жульничают и спят на вокзалах».

Именно так я думаю про жизнь моего поколения.

*Алексей Герман*
кинорежиссер

# День Ангела

© Ольга Моисеева

Леонид Коновалов на съемках «Дня Ангела».

Между прочим, родился я не совсем обычно. По части физиологии всё обстояло, как полагается, но меня планировали к концу года, к пятому числу декабря. А отец, перепившись, так жахнул из сорокапятимиллиметровки, припрятанной на чердаке на случай контрреволюции, что мать разрешилась до сроку.

Стояла напряженная оранжевая осень. Кругом гнали самогон, били баб и уклонялись от извоза. Председатель нашего рыбколхоза прихватил жену с попом – и, в лютой ярости к религиозному обряду, взорвал церковь. Впрочем, церковь осталась вполне цела, но куском кирпича убило нашу свинью, и ее нарочно похоронили на церковном кладбище, рядом с почившей в бозе попадьей.

Родился я в семье шестым. Первым был Иван – мой старший брат. По традиции все старшие сыновья в роду Христофоровых звались Иванами. Не знаю, кому из пращуров и зачем это нужно было, но правило соблюдалось строго, и не дай бог было назвать старшего иначе – его бы все принимали за еврея, и от случая к случаю били бы как Льва Давыдовича, продавца из нашего сельпо.

Этот Лев Давыдович жил у нас безбедно – его единственного называли по имени-отчеству. Но к осени, обычно на Покрова, его непременно били всем миром. Просто так, неизвестно из-за чего. Он уже к этому вполне привык. Сам выходил навстречу рыбакам и прочим работягам, собравшимся на Майдане, надевал что похуже – и выходил. Спрашивал с понимающей улыбкой:

– Бить будете?

– А то как же, выходи, жид пархатый! – мрачно отвечали ему мужики, и Лев Давыдович покорно шел к ним, ноги его подгибались в коленях, он заглядывал всем в глаза, может быть, пытаясь прочитать там вековую загадку, источник той силы, что заставляет гуся кричать и лететь на юг, а рыбаков из рыбколхоза – выходить по осени с дубьем и бить его так, что бедная добрая Сара отхаживала его только к ноябрьским праздникам.

В сельпо в это время орудовал Гришка Косой, товарооборот неуклонно снижался, росла недостача, ревизия ругалась, Сара плакала и ложилась в постель одетая.

После Ивана в нашей семье родились всё сплошь девочки: Любовь, Надежда, Вера. Отец на этом не остановился – смутная надежда на рождение меня сводила его с матерью и заставляла топорщить усы по вечерам. Но только на третий год усилия родителей увенчались успехом – два предыдущих года отец пил и дурным глазом поглядывал на Николу-угодника, похожего на Льва Давыдовича, как две капли воды.

Чтобы хорошо вспомнить прошлое, я прищуривал глаза и смотрел немного вбок – так всё очень хорошо видно! Начинаешь понемногу светлеть и уменьшаться. В голове всё сжимается и немного болят глаза. Заглядывая в прошлое, скосив глаза, я иногда видел куски незнакомой мне жизни, какой-то пейзаж с рекой и кручами.

Понемногу куски подсмотренного прошлого складывались в неровную картину, знакомую до слез и чужую. Иногда меня там даже окликали. Кто окликал, что хотели сказать или спросить – я не знаю, но было тревожно и радостно слышать этот зов. Так, прислушиваясь, я просиживал часами, и трудно было меня сдвинуть с места.

– Ну что ты, будто тебя по голове пыльным мешком трахнули? – хмуро спрашивал отец, дергая меня за ухо. Но я знал: не получив ответа, он даст мне подзатыльник и успокоится.

Во времена моего раннего детства отцу было лет полста. Был он сед, но не так благородно, как Лев Давыдович – по вискам, а шрапнелью по всей голове. Зимой и летом отец ходил в галифе защитного цвета, черной кожаной куртке времен коллективизации и в сапогах с «бульдогами».

Одежда на нем, несмотря на ветхость, сидела ловко, как и в молодости, и создавалось впечатление, что вот он, только что раскулачив пару человек и отправив туда, куда их там отправляли в то время, пришел домой перекусить, а перекусив, пойдет делать свое классовое дело.

Отец твердо знал, что неурожай прошлого года произошел по причине обострения классовой борьбы, знал, что если уничтожить богатых, то совсем не будет бедных, а Земля держится в небе и не падает только потому, что висит в атмосфере.

Отец очень любил слушать умные разговоры. Часто вечерами он уходил к нашему учителю истории, просиживал с ним дотемна, и всегда от разговора приходил в сильное возбуждение: вскакивал со стула, хрипло выкрикивал что-то угрожающее в темноту, а иногда, когда его здорово доставало, он хватал учителя за горло и бешено смотрел, как у того мутнеют глаза.

Учитель не сопротивлялся, он был такой же занюханный, как и наш Лев Давыдович, очень боялся коров и моего отца.

Да, интересно, когда однажды отец дружески хлопнул его бесплодную жену по ягодицам, наш учитель истории пришел в необычное возбуждение. Помню, он вскочил, схватил свою жену за руку и, заглядывая им обоим в глаза, заговорил, вольно выпуская слова:

– Россия, жизньлюбовьдавайтесовокупление, потомучтовдругярость в неожиданно слияниепочвановоетомлениегрудьнизкое разрушение высокое вместекрови в сольмукипотради... – учитель, когда волновался, говорил много слов, и они вылетали у него быстро и без всякой последовательности, не держась друг за друга, а так, которое скорей успеет.

Отец долго слушал его высокую речь, потом хмыкнул, обозвал его козлом и ушел.

Такие были у них взаимоотношения, и, видимо, им было необходимо вот так встречаться и разговаривать.

Брат мой Иван исчез из дома, когда ему не было и шестнадцати, задолго до моего появления. Он вытащил из перины, где наша мать хранила сбережения на случай реставрации капитализма, несколько тысяч, и темной ночью исчез, как сквозь землю провалился.

До нас доходили о нем только легенды, передаваемые из уст в уста.

То его вроде встречали где-то на Колыме в лагере особо опасных преступников под именем Вани Хлястика, то вдруг, ни с того ни с сего, поговаривали, что банк, обработанный в Ереване, – дело его рук, то еще что-нибудь. К нам часто приезжали внимательные мужчины в хороших костюмах, вели задумчивые неторопливые разговоры.

Отец был рад таким посещениям, поил гостей самогоном, сестры надевали новые платья, и мы сидели все вместе, как на большом празднике, словно мы были одной дружной семьей.

– Растешь, ворёнок? – ласково спрашивал кто-нибудь из мужчин меня.

Я радостно кивал и улыбался.

– А мы тебя кых-кых! – говорил он, доставая из-под мышки тяжелый револьвер и целясь мне в лоб.

И я стоял, смущенно теребя пальцы, понимая, что не достоин внимания, и старался выразить на лице всё свое уважение к этим добрым людям.

Потом, ближе к ночи, отец запевал какую-нибудь песню. Голос у него был сильный и уверенный.

Мать, перебирая горох, вполголоса подтягивала ему, а мужчины, не зная слов, мычали, не раскрывая ртов.

От этого пения я чувствовал вдруг, что внутри у меня какой-то большой, легкий клубок поднимается до горла, легко приподнимает меня, и, казалось, что я стою не на полу, а сантиметрах в пяти над полом.

Я начинал подпевать тоже, сам придумывая слова, но мой голос тонул в реве мужчин, и ничего всё равно не было слышно. Сестры поправляли на коленях платья, смущенно смеялись, краснели и хрустели пальцами.

Отец после таких посещений еще несколько дней пил, а захмелев, подмигивал матери:

– А, каков Ванька-то!

Мать хмурилась, задумчиво шевелила бровями, и ничего не отвечала отцу. Когда до нас доносился новый слушок о каком-нибудь ловком деле, отец с утра нетерпеливо выглядывал гостей и торопил мать с закуской.

Я очень хотел увидеть брата. Ведь мы с ним появились откуда-то из одного загадочного края. Мне казалось, что раз он старше, то немного больше разбирается, как это произошло, и кто направил, и кому это было нужно, чтобы мы вот так были, и что же вообще дальше будет.

Я в этом совершенно ничего не понимал, и знал, что другие тоже не понимают. Их это вроде даже и не интересует, как не интересовало нашу убитую свинью то, что существуют деревья, на них растут яблоки и груши, и что учитель, чтобы не встретиться с коровой, ходил посередине улиц, набирая теплой пыли в туфли.

Когда я спрашивал кого-нибудь, когда же приедет брат Иван, мне отвечали, что будет такой день.

– Какой день? – спрашивал я.

– Будет, будет! – отвечали мне. – Такой день, когда мы дождемся его.

Все с надеждой переглядывались друг с другом. Мне были непонятны эти взгляды. По-моему, они играли в какую-то давно сложившуюся игру, которая им уже наскучила, но они, тем не менее, соблюдали ее правила, хотя ничего общего с их жизнью эта игра не имела.

В эту игру я играть не хотел. Да что мне до нее! Что-то там придумали, как-то дурачат друг друга. Мне это было просто неинтересно.

Я видел, что у них это всё не совсем ловко получается. Концы с концами не сходятся, а надо же – твердят всё одно! Меня поэтому считали дураком и выродком. Да я и сам считал себя выродком. И это был еще один вопрос к моему брату Ивану: почему я являюсь дураком и выродком? Действительно, почему так получается? Я подозревал, что с приездом брата связано прекращение этой их скучной игры: «Еще бы! – думалось мне. – Он не такой человек, как все эти люди».

В доме у нас каждый существовал сам по себе, двигаясь по своей орбите. С большой точностью можно было определить, где находится мать в данный момент, что делает отец. Даже более того – если какую-то из вещей их круга передвинуть, сместить, то это здорово нарушит за-

веденный порядок. Например, после обеда отец всегда шел в свою комнату, садился на стул и ковырял в зубах. Затем вставал, подходил к окну и что-то выглядывал там вдали, за синей полоской леса.

Я однажды, чтобы проверить свои наблюдения, переместил стул и затаился под столом. Отец отошел от окна, прошел по комнате раз, другой и, повернувшись на третий, сел на то место, где должен был стоять стул.

Удивление его было огромно. Он резко вскочил и снова сел на то место. На этот раз резко, настойчиво. Половицы вздрогнули и пылинки в солнечном свете зароились, заклубились.

– Мать твою за ногу! – рявкнул он удивленно и задумался.

С тех пор на стул он больше не садился, а ходил по комнате и занимался своими делами.

Я до сих пор не знаю, сколько в нашем доме было комнат. Было очень много дверей, окон, полочек, перегородок, ниш, клетушек и закутков.

Одно рушилось, другое достраивалось. В хорошем настроении отец ходил с ножовкой и топором, что-то подрезал и приколачивал, достраивал и перестраивал. И так велось из поколения в поколение. В коридорах стояли сундуки и комоды, источенные, как решето. Из них сыпалась желтая тоскливая мука. А на полках стояло закаменевшее варенье, грибы в банках, подсвечники и хомуты от подохших лошадей.

Я был уверен, что где-то в недрах дома еще ходит какая-нибудь старушка, забытая родственниками и смертью.

Я сомневаюсь, что отец мог вполне точно ориентироваться в доме. Однажды, когда он искал облигации государственного займа на развитие машиностроения, он залез в такие закутки, что не мог выбраться оттуда до вечера. В ярости отец ревел и матерился, стены тряслись от ударов, и, если бы не мать, – он так бы там и остался.

Постепенно город, что был где-то далеко за синей горой и от которого в сильный ветер доносился до нас запах конфет и кислятины, разросся, и наша местность по причине близости моря вдруг оказалась дачной. Соседи стали пускать к себе в дома и времянки дачников, имея с этого, как они говорили, навар.

Жизнь резко изменилась.

Учитель истории устроил себе туалет дома, так как регулярно кто-то кидал ему в сортир дрожжи.

Льва Давыдовича в первый раз за всё время не побили, потому что была пятница и понаехал посторонний народ. Он ходил недовольный, подозрительный. Поговаривали, что собирается куда-то уезжать.

Его жена Сара стала подолгу гулять вечерами по пустынному берегу залива и писать стихи. Ее даже напечатали где-то за границей, в далекой стране под названием Лихтенштейн.

Нашего попа стали именовать батюшкой. Он побелел лицом и завел дружбу с детьми.

– Вот натру голову чесноком и схряпаю! – любил говорить им батюшка. Дети принимали его за своего и иногда цепляли ему сзади на засаленную рясу проволочку с привязанной тряпкой.

К этому времени мне исполнилось уже лет восемь или одиннадцать, неважно. Меня никто не трогал. Почему-то все считали, что, если я дурачок, то это обязательно должно быть опасно для окружающих.

Сестры выросли и стали сторониться друг друга. Каждая из них ходила с какой-то своей, только ей известной особой тайной, и тяжесть этой тайны выражалась лишь в синеве под глазами.

Вера всего на три года была меня старше, комнатка ее была где-то на другом конце дома, где я был всего один раз – попасть туда из-за заваленных переходов, многочисленных коридорчиков, кончающихся тупиками, было не так-то просто.

Ночью я как-то набрел на ее комнату. Пахло ладаном, хвоей. Вера лежала в ночной рубашечке, из которой она давно выросла, сложив руки на груди и прикрыв глаза. Вокруг горели свечи – большие и маленькие. Висели портретики различных людей. Все они строго смотрели на происходящее, и – что самое интересное – все они были евреями.

Вера заметила меня, приложила палец к губам и махнула рукой, чтобы я смылся. Но я никуда не ушел, а остался сидеть в углу. Наступила такая тишина, что у меня чуть не лопнули струны в ушах. Потом Вера стала шептать что-то, но я никак не мог разобрать что. Губы ее, всегда красные, словно разрезанные помидоры, стали белеть, и из глаз потекли слезы.

Я тоже заплакал.

Вдруг колыхнулась занавеска, и через окно в комнату сестры совершенно бесшумно проник красивый молодой еврей. Он с улыбкой посмотрел на меня, заправил за уши длинные немытые волосы и сел на краешек кровати. Вера открыла глаза, словно она притворилась, что спит, и улыбнулась. Парень взял ее руку в свою, погладил.

Одет он был очень плохо, но всё на нем сидело как-то ловко, движения парня были порывистые, но точные, и когда задрипанный плащ облегал его фигуру, чувствовалось, что он очень силен.

Вера положила свою голову ему на колени. Парень стал перебирать ее густые, искрящиеся при свечах, каштановые волосы.

– Тебе хорошо со мной? – спросил он ласково.

Вера кивнула. Парень наклонился, поцеловал ее за ухом.

– Щёкотно! – смеясь, сказала Вера.

Парень тоже засмеялся и еще раз поцеловал ее.

Я решил им не мешать, тихонько встал и пошел. Парень остановил меня, легонько хлопнул по плечу и кивнул на прощание.

Надя была тихая, часто краснела, словно зная, что ее мысли все читают. Действительно, она была такой, что всё, что она думала, было написано на ее лице. Было забавно смотреть, как одна мысль сменялась другой. Говорила же она совсем не то, что думала, говорила она много, но как-то неуверенно, словно боясь, что ее прервут.

Любка была совершенно другого склада – без смеха не могла сказать и двух слов. Всё ей было весело. Жила она невдалеке от моей каморки, и что мне в ней нравилось, так это то, что по утрам она пела частушки, а по ночам у нее были гости, неизвестно откуда появлявшиеся, – дверь на ночь крепко запиралась. Может, она и одна могла разговаривать на несколько голосов – это было вполне возможно.

Я часто к ней заходил. В комнате у нее стояло огромное зеркало, которое отец привез из города, выменяв его за кусок сала. Любка медленно раздевалась перед этим зеркалом, улыбаясь той, другой Любке в зеркале.

Им вдвоем было очень хорошо. Они понимали друг друга, и делали всё, чтобы их нежная дружба и близость доставляли им удовольствие от общения друг с другом. Им больше никого не нужно было. Я уходил от них, тяготясь своей ненужностью.

Временами мной овладевало чувство тревоги, хотя я никогда уже ничего очень не боялся. Но иногда, особенно когда я слышал голос, тот, за кручами, то тихий, грустный, то резкий и настойчивый, казалось, что должно случиться что-то непоправимое и страшное, и всё вокруг менялось, приобретало иной, зловещий смысл.

Я запирался в комнате, забивался в угол и сидел там часами, вздрагивая при каждом шорохе. Всё происходило как во сне. И события происходили так, как вылетали слова у учителя – беспорядочно, – какое успеет произойти скорее. Если падала со стола кружка, то как раз в тот момент, когда воображаемый мною волосатый странный человек прокрадывался из одного угла комнаты в другой.

Я не мог понять, что же происходит раньше: падает кружка и потом пробегает человек или же наоборот. Предполагаемое начинало сливаться с действительностью, и я никак не мог отличить одно от другого, так странно и причудливо сплеталось всё это.

Мне начинало казаться, что это так и существует – всё вместе, неразрывно. И вот в такие минуты меня осеняли удивительные догадки – я ясно видел ход событий, которые произойдут потом, через много дней.

Для этого надо представить реку в ледоход. Посмотреть на всё внимательным и спокойным взглядом, а затем вздохнуть глубже, перебежать по льдинам на другой берег. Очень интересно потом смотреть, как долго качаются тяжелые льдины, словно хотят сбросить со своей скользкой спины невидимый груз.

Эти минуты бывали редко, но я их всегда боялся.

Страшно увидеть неприятное событие, которое произойдет через какое-то неопределенное время, но к которому неотвратимо идешь, и изменить ничего совершенно невозможно.

И самый лучший выход остается – забиться в угол и ждать, когда оно навалится.

Следующей весной отец, поддавшись искушению, решил взять на постой, как он по-кавалерийски выразился, дачников.

Он придирчиво отбирал желающих поселиться в нашем доме на всё лето. Не подошел ни очкарик, который всё упирал на то, что он – кандидат наук, ни высокий с седыми космами гляциолог.

Отец презрительно оглядывал их с ног до головы и ехидно спрашивал:

– Небось кукарекаете по ночам?

Кандидаты на постой почему-то начинали рыпаться, оскорблялись и уходили, называя отца старым идиотом.

Первым у нас в доме поселился человек по имени Сева. Он подошел к отцу, весело хлопнул его по спине и подмигнул.

Отец хохотнул и сразу же уступил ему лучшую комнату с окнами в сад.

На Севе был светлый костюм, который топорщился, будто набитый соломой – такие жесткие и густые волосы росли у него на теле.

– Бэрём кустюмом и интеллектом, – загадочно сказал Сева.

С ним были красивая жена и дочка лет десяти.

– Валентина, преподаватель испанского языка, – представилась женщина, и сказала что-то по-испански.

– Алла... – смущенно спохватилась дочка Севы, когда мать толкнула ее в бок. – Семпленем мижур.

– Ну, и слава богу! – ответил отец умиротворенно.

– Она того... – сказал Сева отцу, кивнув на жену.

На следующий день к пирсу рыбколхоза причалил серый военный катер, доставивший к нам еще одного дачника.

Это был полковник каких-то родов войск, но кажется вовсе и не полковник, потому что всегда ходил в штатском. Он действительно кукарекал. По утрам.

Честно скажу – мне это нравилось. Вставал он часов в шесть, выходил в сад, залезал на скамейку и кукарекал. Севу же это утреннее кукареканье раздражало.

– Слушайте, полковник, хватит уже пэтушиться! Спать надо! – кричал Сева, высовываясь из окна.

Полковник ничего ему не отвечал, хмыкал, словно прочищал нос, и, прокукарекав еще пару раз, начинал делать физзарядку.

Был полковник слегка полноват, как полноваты бывают люди, питающиеся хорошими, качественными продуктами, – ровно полноват, без всяких особых выпираний отдельных частей тела. У него были широкие черные брови, жесткие короткие пальцы. От него приятно пахло одеколоном и крепким трубочным табаком. Наш учитель любил совершать свой вечерний моцион с полковником, потому что коровы полковника побаивались.

Сева обыкновенно спал до обеда. Спал он на полу, так как боялся во сне упасть с кровати и удариться виском. Вместе с Севой на полу спала его дочка. Во сне они оба тяжело ворочались, вскрикивали, махали руками, как будто их мучили одни и те же сновидения.

Валентина спала отдельно – на цветастой раскладушке, укрытая легким парчовым одеялом. Раскладушка даже не прогибалась под Валентиной, такая легкая она была и красивая.

После обеда Сева с отцом уходили пить водку, а вечером, когда отец по обыкновению падал под стол и мычал там в полумраке, Сева гонялся за какой-нибудь из сестер.

Верка редко появлялась и ловко исчезала где-то в глубинах дома, поэтому Сева никак не мог её отловить.

Любка в руки давалась легко, но как только Сева, прижав ее в угол, распалялся, Любка выскальзывала у него из-под рук и, смеясь, исчезала.

Больше всего доставалось Наде. Она не сопротивлялась Севе, давала себя сажать на колени. Сева держал ее так, ни на кого не обращая внимания, и рассказывал что-то ей на ухо, наверное, что-то очень интересное, потому что Надя хохотала и всхлипывала.

Однажды ночью, когда весь дом спал, а я внимательно вслушивался в шум моря, ко мне в комнату вошел Сева.

– Слушай, дурик, где спит Любаша? – спросил он.

Я ему показал, и он ушел. Через полчаса он пришел весь в паутине, перемазанный сажей и глиной.

– Чёртов дом, отведи меня, не могу никак найти.

Я отвел его в комнату сестры.

Любка спала на животе, рука ее свесилась с кровати, а из-под руки видна была большая грудь. Сева взял Любку за плечи и приподнял. Она спала крепким сном. Сева снял штаны, повесил их аккуратно на спинку стула, и лег на Любку. Его тело закрыло всю ее и только по сторонам, как два крыла, трепыхались ее белые ноги.

У полковника горел свет, и дверь была настежь открыта.

Валентина и Алла сидели на складных стульчиках, а полковник порывисто ходил перед ними по комнате, что-то рассказывая. Я никак не мог понять, что, потому как полковник, видимо, смущаясь Валентины – кожа у него под щетиной горела, как от пощечины, – комкал слова, выговаривая хорошо только букву «р».

Валентина сидела, подперев щеки руками, и внимательно слушала.

– Удивительно, – изредка шептала она, видимо, прекрасно понимая, о чем говорит полковник.

Алла в точности повторяла слова и движения матери, прибавляя от себя только непонятное слово «сижур».

Полковник был бледен, но гордо держа свою львиную голову, он строго поглядывал, несмотря на смущение, на розовую Валентину, словно допрашивал ее.

И всё-таки основной смысл речи полковника я вполне понимал – по взволнованным репликам, которыми изредка отвечала Валентина на его длинные монологи:

– Я верю, что это нам удастся... Я горжусь, что с вами знакома... Если с вами что-то случится, я буду очень плакать... Что вы, я глупая и ничтожная...

Наконец, мне надоело прятаться, и я выглянул из-за косяка.

Валентина посмотрела на меня сквозь слезы.

– Вон мальчик, сходи с ним, погуляй, – сказала она Алле.

Алла сунула палец в рот и уставилась на меня оловянными глазами.

Валентина подтолкнула ко мне дочку.

– Иди, иди. Возьми, мальчик, ее за руку.

Я неуверенно взял Аллу за руку. На ладони у нее росла мягкая редкая шерсть.

– Пойдем, я покажу тебе Севу, – предложил я.

Алла согласилась, и я ее повел.

Было темно, но я без труда находил дорогу среди мешков, сундуков и стульев. Алла же спотыкалась на каждом шагу и падала. Я ее поднимал и уверенно вел дальше, она цепко держалась за мою руку.

Вскоре я открыл дверь Любкиной комнаты, но Севы там не было.

Любка спала на спине, раскидав руки и ноги. Алла подошла к ней, потрогала большие круглые груди, провела пальчиком по животу и бедрам.

– Спит, – сказала она. – Селпрадом.

– Он, наверное, у Веры, – предположил я.

Мы продолжили поиски. Держась за руки, как брат и сестра, мы побежали по коридору. Веркина комната оказалась совсем рядом.

– Тише! – шепнула Алла. – Сева вон, магли пурико.

– Силант, – ответил я, начиная понимать ее язык.

Сева стоял, переступая с ноги на ногу, на пороге Веркиной комнаты и смотрел, как неистово Вера бьет земные поклоны. Сева тихонько взвизгивал.

– Час сей мериджом, – сказала Алла.

И действительно, Сева вкрадчиво подошел к Верке.

– Алигород нагусодр, – шепнула Алла торжествующе и протянула ко мне руки. – Рибес седс, – и обняла меня за шею. – Он лисен, – зашептала она и присела на мешок с овсом. – Ще ее, ще ее! Ще ее!

Я хотел было встать и посмотреть, что делает Сева в комнате у сестры, но Алла так вцепилась в меня, что пришлось эту мысль выбросить из головы.

И с тех пор жить мне стало очень тяжело.

Алла выслеживала меня, гонялась за мной по всему дому. Не было такого угла, где бы спрятавшись, я чувствовал себя в безопасности.

У нее было какое-то чутье особое – она находила меня в любом закоулке, яростно на меня набрасывалась, щипала и мучила. Я сопротивлялся, она быстро уставала и засыпала, где лежала, будь то земля, доски или битый щебень. А я садился рядом и плакал.

Всё ее тело было в ранах и ссадинах. Я, защищаясь, бил ее, но ничего поделать не мог. И когда она лежала смирная, после всего, по-детски подложив ладонь под щеку и поджав колени, я жалел ее и, может быть, даже любил в такие минуты. Я закрывал подолом ее ноги, застегивал кофточку, у нее было всего две пуговки у самого горла, и поскорее уходил – и знал, что через полчаса она опять проснется и станет меня искать.

И только к осени на Покрова они уехали.

Сева на прощание перецеловал моих сестер, похлопал их по ягодицам, и каждой подарил по синей бумажке.

Валентина держала Аллу за руку, и та покорно шла за ней, выпучив оловянные глаза, смирная, словно парализованная розовыми лучами, которые исходили от Валентины.

За полковником приехал бывший однополчанин, пенсионер на черном «ЗИМе» за номером 19-37 ХОП.

Полковник погрузил в машину Севино семейство, и они уехали.

Отец долго стоял на дороге, пока машина не исчезла за синей полоской леса, потом повернулся к матери:

– Каков полковник-то!.. На машине чёртом!

– Иван это был, – печальным голосом сказала мать и укоризненно посмотрела на отца.

– Спятила?

– Это был наш сын, – кротко сказала мать и ушла в дом.

– А чего же это он кукарекал? – прошептал отец. Он глубоко задумался и снова стал глядеть вдаль.

– Так скрывался ведь, – подсказал я ему. Но отец не обратил на мои слова никакого внимания и молча ушел в дом вслед за матерью.

**В** доме совсем меня забыли.

Я неделями не ел, ходил в чем попало и под конец так оборвался, что где-то потерял свою одежду, – она незаметно сползла с меня. Тогда я нашел мешок поновей, прорезал в нем дырки для головы и для рук и стал ходить в нем. Собственно говоря, какая разница, в чем ходить?

Из дому я совсем не выходил и всю зиму учился читать.

Вера показала мне как-то азбуку. Кое-что запомнив из этой азбуки, я брал какую-нибудь книгу, выискивал в ней знакомые буквы, о значении других догадывался по ходу дела, и учился складывать из них слова.

Сначала было трудно, но потом я втянулся в это дело, и к весне за день мог прочесть книгу толщиной в два пальца.

Секрет печатного слова я открыл сам, стоило мне это немалого труда. Удивительно было, что каждое слово что-нибудь значило. Сколько радости доставила мне, например, догадка о том, что то, на чем я сплю, записывается так: «акйок». А то, чем дышим: «худзов». А чем слышим – «ишу».

Как волнующе преображаются в книге слова, становятся такими непохожими, но такими забавными: «цето», «аворок», «еинеровтелводу еокобулг». То же самое, да не то же самое!

Так я узнал много всякого, и неделями не спал, прочитывая книгу за книгой. Правда, потом приходилось спать минуту-другую, а может быть и больше, потому что, когда спишь, не знаешь, сколько времени проходит.

Я так увлекся чтением, что, когда весной впервые вышел во двор, хорошо отоспавшись, увидел, что многое и многое переменилось у нас.

Даже как-то называть это всё по-прежнему было неловко.

Не скажешь же после стольких перемен, что дом наш стал ниже, а приходит на ум что-то более точное: сом остатасился и кажухающиеся токтото проглазились.

Все три сестры мои остратились. Вера и Надя по токчику, а Люба – двух зюзичек. Вычедынь смала течахчехча, свол перетач вочолынь. Сонь перетань бо калахтерень, вынь тугирень по деревьям со страшным криком. Я хотел было посмотреть на малюток, но меня прогнали. Издали они были похожи друг на друга, как все Христофоровы, и одновременно – на Севу.

Сначала я не обратил внимания, но немного привыкнув к изменившейся жизни, с радостью и удивлением узнал в существе, всегда старавшемся казаться незаметным, милую глокую Куздру. Она ходила тишком по двору на толстых бледных ногах, поджав передние таким образом, словно несла какую-то невидимую ношу, и стеснительно посмеивалась. На нее никто не обращал внимания, и это, видимо, ее устраивало вполне.

Изредка она, оставшись в одиночестве, издавала тихий крик, и я стал узнавать в нем тот, который слышал там, где-то в холмах и расселинах, непонятный, но волнующий. Заслышав этот крик, я прибегал к ней, и мы уходили в поле ловить мышей и разорять перепелиные гнезда.

Отец же, став четырежды дедом, крепко запил, и до самого лета, до приезда дачников, ходил по дому, спотыкаясь и распевая грозные песни.

В июле снова приехали Сева со своей семьей и полковник.

На сей раз полковник был с приклеенной бородой, тих и задумчив.

Я долго его не стал разглядывать, так как сзади ко мне подкралась Алла и ущипнула радостно. Я поспешил скрыться в доме.

По вечерам полковник часто запирался в своей комнате и стучал на пишмашинке, а по утрам так же строго делал физзарядку, но кукарекать прекратил – к Севиному удовольствию.

Я понял, что полковник что-то замышляет. Я верил и не верил, что это мой брат. Спросить его я не решался – он мне казался таким недоступным и строгим.

Иногда все жители нашего дома выходили в сад посидеть и попить чаю под шум далекого прибоя.

Полковник появлялся позже, но его присутствие чувствовалось всеми – из открытого окна строчила пишмашинка, и отец, когда проходил под окном, по привычке пригибал голову – боялся, как бы его не задела очередь.

Чай разливала Любаша, и Сева всегда повизгивал, когда она касалась его. Потом выходил полковник, и все радостно приветствовали его. Полковник весело улыбался – видно, дела его шли достаточно хорошо, – и весь вечер он развлекал всех своими рассказами и шутками.

Я садился на травку и внимательно слушал его.

Рядом со мной по обыкновению пристраивалась Куздра, стараясь оставаться в тени, и, подперев глокую голову, не сводила задумчивых глаз с рассказчика.

От него я узнал много-много всяких интересных вещей.

Он рассказывал, как правильно нужно грабить банки, как стрелять из автомата «сетон-томпсон» в условиях плохой и средней видимости, как устроить перманентную революцию в слаборазвитой стране.

Отдельные вечера он посвящал теме террористических актов, тайного убийства и доведения до самоубийства при помощи шантажа.

Если бы такие вещи рассказывал Сева, я бы не поверил, хотя Сева, по-видимому, никогда не лгал. А если бы лгал полковник, я бы ему всё равно верил, потому что это был такой человек, которому нужно было верить.

Сева почему-то оспаривал каждое слово полковника:

– Не может быть! Такого не может быть, вы брэшете!

Полковник удивленно смотрел на Севу и невозмутимо продолжал рассказывать:

– Каждое общество похоже на плод или на растение, которое зарождается, зреет и отмирает. Отмирая, оно несет в себе зерно, из которого вырастает новое растение, дающее плоды. В каждом обществе есть силы, несущие питательные соки, и есть силы разрушающие. Обе они имеют право на существование. К примеру, как необходим кислороду азот, потому что от одного кислорода человек пьянеет и умирает. Так вот нужно равновесие между двумя этими силами. Тогда человечество, борясь, развивается. Убрать одну силу – погибнет человечество. Убрать другую силу – будет евангельская притча, только наоборот: были посеяны многие семена – и злаков, и плевел. Злаки погибли или стали уродливо развиваться, а плевелы расцвели и дали потомство.

Севу такие рассуждения полковника выводили из себя. Он шумно закипал, как чайник, и, клокоча, выпаливал:

– Вы – анархист. Это всё побасенки!

Но все, затаив дыхание, слушали рассказчика, и полковник, лукаво усмехаясь в бороду, продолжал:

– Человечество издавна стремится к гармонии и миропорядку, но человечество этого никогда не достигнет. Всё уходит в одного человека, всё упирается в человека-единицу. Но когда собираются больше трех единиц, то вступает в силу странный закон, проследить который вы не в состоянии, наблюдая, как три единомышленника не могут договориться и выработать единой линии. И если что-то у них всё-таки происходит, то это не первое,

не второе и не третье, а нечто новое, принципиально отличающееся от первого, второго и третьего.

– Неправда! – кричал Сева, дико озираясь вокруг.

– Человечество достигнет гармонии и миропорядка, только создав машину, которая возьмет опеку над ним. Всё – от судопроизводства до наследственности каждого человека – должна будет вместить в себя машина. Строгий учет видов, учет комбинаций, при которых рождаются оптимальные граждане, гармонично развитые и умственно, и физически. Готовые встретить любые трудности достойно. Заповедник по выращиванию счастливого человечества. Всё во имя счастливого будущего! Даже если придется сейчас, – полковник явно разгорячился, видно было, что его это здорово занимает, – прикончить десяток-другой несогласных. Так уж человек устроен – покажи ему прямой путь в рай, так он непременно будет выкобениваться и искать еще чего-то, будет пытаться иначе как-то пойти, чего-то другого поискать.

– А не будет ли это контрреволюцией? – строго спросил докладчика отец, на что тот уверенно ответил:

– Контрреволюция невозможна.

– Еще бы! Мы под корень, ети их мать! – гордо подтвердил отец.

Полковник понимающе засмеялся и засмеялись все, только Сева проворчал себе под нос:

– Старый пень.

Из-под стола мне видно было, как Сева решительно завернул у Любки юбку и погладил ее тугое белое бедро, очевидно, для душевного успокоения.

Часам к двенадцати все расходились.

– Вы завтра еще что-нибудь расскажете? – спрашивала Валентина, заглядывая полковнику в глаза.

– Непременно! – говорил полковник и вдруг, строго оглядев всех, уходил в дом.

Валентина шла к себе, счастливая, таща за руку Аллу, которая так и зыркала по сторонам, выглядывая меня. Сева, смурый от мозговых напряжений, вставал и громко благодарил:

– Спасибо за чай и сахар, а вот лимон – хрен с ним – слишком кислый!

Я набрался вопросов и уже чувствовал, что больше не могу нести их в своей голове. Решил пойти к полковнику и всё рассказать ему.

Но стоило мне появиться под окнами его комнаты, как Алла, учуяв меня, тигрицей выскальзывала откуда-то и набрасывалась. Тогда я решился на хитрость.

Как только она подкралась ко мне, я схватил ее за руку и потащил к себе в комнату. От удивления она долго не могла прийти в себя.

Я швырнул ее на пол, и пока она срывала с себя одежду, захлопнул дверь, привалив ее старым шкафом. Алла завизжала, обманутая, но визг ее заглушили стены, он запутался в пыльных закутках коридора.

Я поспешил на улицу.

Из-за зашторенных окон комнаты полковника пробивалось в ночь несколько лучиков света. Я хотел было на всякий случай заглянуть в дырочку, но тут натолкнулся на что-то волосатое и скользкое.

Сева, сняв свой белый костюм, оказался совсем невидимым в темноте. Он подглядывал за полковником.

– Пошел вон, придурок, – грубо оттолкнул он меня ногой, не отрываясь от окна.

Из комнаты полковника доносилось звяканье, как будто кто-то перебирал ложки. Через минуту звяканье прекратилось, скрипнула дверь, и на крылечке появился полковник.

Он был без бороды и с автоматом в руках.

Сева ползком скрылся за угол.

Полковник внимательно и строго посмотрел на меня, потом опустил автомат и улыбнулся.

– А где твоя борода? – спросил я его, надеясь вызывать на разговор, но полковник молча подошел ко мне, взял за руку и повел к себе в комнату.

Посреди практически пустой комнаты стояла какая-то машина, похожая на пожарную.

– Ну, давай, помоги мне, – полковник поставил в угол свой автомат, задвинул засов на двери, – а то одному тяжело. Страшно тяжело одному!

Я согласился. Но сказал, что всякое дело начинает кто-то один, а потом за ним идут многие и многие, воодушевленные его личным примером.

Полковнику понравились мои льстивые слова. Он, конечно, понимал, что я это делаю нарочно, и я понимал, что он понимает.

Таким образом, наступило взаимопонимание.

Я взял за ручки помпы с одной стороны, полковник с другой, и мы принялись качать. При каждом качке из щелки выскакивала монетка и, покатившись по желобу, обитому замшей, падала в железный ящик, стоявший под столом.

– А куда тебе столько? – не удержавшись, спросил я.

– Потребности растут, – жестко усмехнулся полковник, думавший о чем-то своем. На это я тоже согласился. Действительно, потребности росли из года в год.

Вскоре полковник выдохся и устало сел на диван. Было видно, что этим изнурительным делом он занимается давно и оно ему порядком осточертело. Не вставая, он протянул руку к сейфу, достал оттуда графин с коньяком, налил два стакана.

Я стал пристально смотреть в угол, где стоял автомат, так как не хотел брать дорогой коньяк и зря вливать в себя.

– За удачу в нашем безнадежном предприятии! – устало сказал полковник и хлопнул стакан одним залпом.

– Почему? – спросил я его удивленно. – Почему безнадежном?

– Эсплэй уэй, – загадочно сказал полковник.

На столе стояла горка монет, и я взял одну. С одной стороны было написано: «ьлбур I», а на другой был изображен полковник в кителе, с усами и при орденах.

– Похож? – спросил полковник весело. Потом достал из кармана монетку и протянул мне:

– Я и тебе тоже приготовил подарок, ведь сегодня же день твоего Ангела. Я позвал гостей.

На одной стороне монетки был изображен я с разбросанными в разные стороны волосами и в сарафане из мешка, на другой – опять же полковник с улыбкой на губах. Крепкие жилистые руки с короткими пальцами он скрестил на груди, открытый лоб сверкал металлическим блеском. На ребре было написано: «алегнА менд С».

– Спасибо, – как можно вежливее сказал я ему, – ты добрый, умный человек, и я знаю, что ты мой брат.

– Об этом никто не должен знать, – тихо произнес полковник и внимательно посмотрел на меня.

– Конечно, это им необязательно знать, – кивнул я.

– Вот и хорошо. Каждый должен знать ровно столько, сколько ему нужно знать, а тот, кто хочет знать больше, пусть догадывается.

Эта фраза меня рассмешила, и я в веселом настроении вышел от полковника, зажав в руке монету.

Как только я шагнул в ночной полумрак, чья-то рука грубо схватила меня за шиворот и приподняла над землей. Я завизжал было, на всякий случай, но волосатая рука крепко зажала мне рот.

– Говори, щенок, что ты видел у полковника?

Сева встряхнул меня. Я затрепыхался, и мне вдруг стало смешно, мне показалось, что я – действительно лохматый щенок, и Сева поднял меня за загривок, чтобы лучше рассмотреть. И я пролаял было, как умел, но Сева размахнулся и ударил меня об угол.

Ноги мои повисли, и одна скособочилась...

«Наверное, сломалась», – подумал я.

Сева размахнулся и еще раз ударил.

– Я произведу естественный отбор! – яростно рявкнул он и швырнул меня в соседний огород.

– Что за шум? – резко спросил полковник.

Он вышел на крылечко в кителе, но без погон. Высокий воротник подпирал его щеки.

Сева смущенно потупился.

Вышла Валентина и, будто не замечая полковника, посмотрела долгим взглядом на луну.

Полковник подошел к Севе, уставился на него своими строгими глазами. Сева выпрямился.

– Смир-рр-р-но! – скомандовал полковник как-то негромко, но так пронзительно, что с крыши полыхнули галки и закружились над домами.

Сева прижал локти к бокам и задрал подбородок.

– Р-разжирел как сволочь! – полковник костяшками пальцев постучал по выпяченному животу Севы.

Валентина не выдержала и рассмеялась. Сева скосил на нее глаза и выпятил губы.

– Шаго-о-ом... мар-р-рш! – протяжно крикнул полковник, и Сева, старательно задирая ноги, насколько позволял живот, прошелся по дорожке, печатая шаг.

– Раз, два, три... раз, два, три! – считал полковник. Густые черные брови качались в такт шагам Севы.

Из дома вышел хмельной отец и уселся на бочонок с водой, как на барабан. Тут же открылась калитка, и гурьбой вошли гости: поп, бритый налысо, с тонкой восточной улыбочкой на устах, смущающийся учитель истории с подурневшей женой.

Все тихо поздоровались с отцом и расселись кто где.

Один Лев Давыдович ни с кем не поздоровался, развязной походкой прошел мимо всех и уселся в шезлонг, словно его одного здесь только и ждали.

Отец покосился на него, но ничего не сказал.

Вышли из дома сестры – Вера, Надя и Люба со своими малышами. Те сразу бросились кубарем в теплую пыль и айда обсыпать друг друга.

Заспанная Алла посмотрела красными глазами на собравшихся и, почесываясь и зевая, ушла досыпать. Видимо, когда я ее закрыл, она просто уснула от огорчения.

– Раз! Раз! Раз, два, три... Раз! Раз! Раз, два, три! – командовал полковник, и его металлический голос казался нечеловеческим. – Выше ногу, тверже шаг!

– А теперь можно и помирать! – радостно брякнул отец.

– За что боролись, на то и напоролись, – констатировал учитель, кривя губы в улыбке.

– Какой мужчина! – сказала отцу Валентина, с восторгом глядя на полковника.

Отец молча кивнул. Он Валентину уважал.

Сева старался изо всех сил. Когда он проходил мимо того места, где лежал я, земля подо мной вздрагивала, и меня подбрасывало сантиметров на пять. Я клацал зубами и хватался за пряслицу забора левой рукой. Правая же оказалась перебитой у самого плеча.

Понемногу завязался общий разговор. Вспоминали прежние времена, разные смешные истории.

Поп, между прочим, оказался интересным рассказчиком, и, пока Сева маршировал, он забавно изображал, как жена председателя бегала к нему на исповедь. Все слушали попа и с улыбкой поглядывали на Севу, попавшего на зуб строгому полковнику.

– Ну, ладно, на сегодня хватит, – миролюбиво сказал отец. – Всех угощаю, пойдем в дом.

Полковник скомандовал «вольно», и Сева вытер с лица пот, заливавший его лицо. Потом хотел было наклониться над пожарной бочкой, чтобы зачерпнуть воды, но не заметил штыря, торчащего из стены дома. На нем отец хотел укрепить водосточную трубу, да руки всё не доходили. И Сева тихонько тюкнулся виском в штырёк.

Все встали и пошли в дом по приглашению отца, а Сева так и остался на дворе, погрузившись головой в красную бочку.

– Всё пьешь? – сказал Севе Лев Давыдович, уходивший в дом последним, – ну и туша!

Вскоре на втором этаже вспыхнул яркий свет. Мне хорошо было видно, как все уселись за огромный стол, и отец разлил по стаканам водку.

– Тост, полковник! – крикнул кто-то.

– Будь, что будет! – кратко сказал полковник и выпил до дна.

Все зааплодировали и тоже выпили. Отец поставил на стол огромный граммофон и накрутил пружину. Полковник подошел к Валентине и пригласил ее. Она, конечно, зарделась. Всем было интересно наблюдать, как два настоящих влюбленных человека танцуют. Как смущаются, словно всё, ха-ха-ха, в первый раз.

– А ведь сегодня же день моего Ангела, – подумал я и стал искать монетку, которая потерялась где-то в траве.

– Вот она, – сказала Куздра, и на щеке я почувствовал ее легкое дыхание. – Ты пока посиди, а я Севе глаза закрою, он уже, кажется, готов.

Куздра пошла к Севе, а я устроился поудобнее, подтянул левой рукой перебитые ноги к животу и, поймав монеткой свет, стал наводить зайчика.

Зайчик легко прыгал с дерева на стенку, со стены в окошко и с окошка куда-нибудь к заливу или в темный лес, где терялся среди деревьев, но я одним движением руки извлекал его оттуда и запускал снова в окно.

Когда зайчик попадал кому-нибудь в лицо, тот махал руками и отбивался. Никто не знал, откуда он берется.

А я лежал под забором и смеялся от души.

Кроме того, что было просто весело, у меня ведь был мой личный праздник – сегодня же день моего Ангела – лет пятнадцать тому или двадцать, точно не знаю, в такую же ночь мать до сроку разрешилась, когда отец, перепившись, жахнул из сорокапятимиллиметровки, припрятанной на чердаке на случай контрреволюции.

*1975-76 гг.*

# И умереть в Париже...
## ( Маленькая повесть для кино )

© Михаил Коновальчук

Мефодий и жаба.

Рисунок Михаила Коновальчука.

Ли Бо, чукча, выдающий себя за китайца, летал во сне и думал, что он бабочка. А бабочка, валяясь в траве, думала, что она Ли Бо. А мне казалось, что они лишь тени на серой стене сарая.

(Случай из моей жизни)

Звенели капли... Я прислушался к их нестройному звону и уловил определенную последовательность: точка – тире – точка, три точки – три тире – три точки, «са-мо-лет, ло-па-та, са-мо-лет», – словно какая-то радиостанция давала свои позывные.

А дело было в каком-то подвале, и стоило мне это осознать, как вдруг из подвала я оказался на ночной мостовой, и капли уже звенели в глубине канализационной трубы, но стоило и это осознать, я очутился у себя в мастерской, и мой сосед, Пашка Пропалов, облюбовавший мою мастерскую для нехитрого промысла, прорисовался на фоне окна с сутулой спиной дятла, выстукивая молоточком по дюбелю на мраморном надгробии, словно передавая азбукой Морзе с этого света на тот:

«Ты так рано ушёл...»

Я встал и по привычке, молча, выпил стакан воды.

– Уш...л пишется с О или с Ё ? – спросил Пашка.

– На О бывает, и на Ё бывает, – отмахнулся я соответствующе. И тут вдруг в углу, на железной койке что-то зашевелилось под одеялом, раздались звуки, одновременно похожие и на рыдание и на смех.

– Кто это? – спросил я у Пашки, – что за чахоточное существо?

Тот в ответ пожал плечами:

– Ты его и привел, сказал, что случайно нашел под скамейкой.

– Слушай, жрать хочется, – раздался голос из-под одеяла, а вскоре оттуда появилась лысая, шишковатая башка с бледно-голубыми глазами, затем существо опустило ноги в ортопедических ботинках с кровати и так застыло, словно его посетила какая-то трудноразрешимая идея. И только тут я заметил, что все четыре ножки кровати стоят в алюминиевых чашках с налитой в них почти до краев водой.

– От клопов, – поймав мой взгляд, сообщил лысый, – не терплю, впрочем, взаимно. Они меня находят повсюду, ну что за народ! – хмыкнул он, пнув чашку, в которой серели утопшие клопы, всплывшие кверху брюхом, как заправские утопленники.

– Мефодий меня зовут, если забыл, а то ты вчера почему-то звал меня Мафусаилом, а я-то Мефодий, Мефодий Исаевич, триангулятором сейчас подрабатываю, а так... Так есть что перекусить?

– А нет ничего, как всегда, – хмыкнул Пропалов, – хоть шаром покати! Заказ, понимаешь, не приняли: я вместо «Хахалов», фамилия такая у человека, в смысле покойника, написал «Хохлов», а они и установили надгробье, вот смеху-то было, все родственники просто покатились, а соседка обиделась: какой Хохлов, никакой он не Хохлов, мать вашу пятачок, он Хахалов! Член партии с 1955-го года! Ну, мне-то член или не член, не особо, мне бы деньги, понимаешь, я же штроблю всё это сутками, руки ноют, спать больно.

Мефодий слушал Пропалова, кивал, но делал свое дело, видимо, задуманное тогда, когда он спустил свои ноги с коечки и застыл, непонятный для окружающих. Он постукивал своими ботиночками, шастал по кухне, нашел ведро, налил воды и поставил его на газовую горелку.

Пропалов говорить-то говорил, но подозрительно поглядывал на действия Мефодия, так как он в них не улавливал ни смысла, ни логики, а поскольку он был человеком, который не доверял самому себе, так как он иногда проделывал штуки, которые его же и удивляли, он старался найти в действиях гостя некий тайный смысл, замысел, который хоть и непонятен пока, но непременно ведет к какой-нибудь неожиданной гадости, да, гадости, потому что Паша Пропалов в своей жизни только с ней и сталкивался.

Мефодий привязал бельевую веревку к ручке окна, накрошил позеленевшего хлеба на подоконник и присел, уставившись на меня своими вылинявшими глазками.

Я, наконец, раскурил трубку – смесь махры и моха – и стал оттирать зубным порошком фигурку всадника с копьем.

– Так торфяники горят, – кивнув на трубку, сказал Мефодий, – снаружи не видно, а внутри – адский пламень. А это что, взятие Парижа казаками?

– Так, аллегория, на помойке нашел...

– На знакомого казака похож, тоже такой, задумчивый, – сказал Мефодий и натянул веревку, – а дочь – на него, как две капли воды.

– Чья дочь? Откуда ты знаешь, что у него дочь есть? Может, и с его женой знаком?

– Да и жену видел, тоже на него похожа! Тьфу ты, не наступай на веревку! Топчешься, как петух, эт-то, гиалуароновая кислота! Знаешь, что такое? То-то! Не замечал, что с возрастом супруги становятся похожи?

– Вот еще! Я слово-то «супруг» ненавижу, а рассматривать их – тем более.

– А то зря... голубочки, ох, как голубочки! Воркуют себе, да воркуют, пока Мефодий не подкрался!

Дело было в том, что на подоконнике к этому времени собралась стая вечноголодных голубей и яростно клевала плесневелый хлеб, толкаясь и наскакивая друг на друга, опровергая тем самым миф о своем миролюбии и проявляя недюжинную свинскую натуру, разбрасывая крошки и тут же справляя малую голубиную нужду.

– А вот Мефодий и подкрался! – крикнул он, дернув веревку.

Мастерская мгновенно наполнилась голубями, они заметались, свистя крыльями, путались в рваных занавесках, бились об стёкла, роняя пух и перья.

Пропалов даже уронил дюбель, который он использовал, как штроб, а сверху упали и очки, ломаные-переломаные, связанные рыбацкой леской и заклеенные тонкой папиросной бумагой крест-накрест, словно окна в блокадном городе Ленинграде, в котором большевики когда-то замутили Советы, мать их.

А Мефодий ловко хватал голубей на лету, словно мух, отрывал головы и бросал в кипящую воду.

Когда Пропалов сообразил, для чего была устроена эта ловкая ловушка, он пришел в восторг:

– Ну, ты, Мефодий, ну ты ёксель, а я думал так, посвистеть пришел, а ты моксель, тебя нужно слушать-слушать, да делить все на 7.40!

– Непростой ты, Мефодий, как говорится, неоднозначен ты!

– Ты счастливый человек? – спросил Мефодий, обсасывая голубиные косточки.

Перед каждым из присутствовавших лежала горка костей. Мефодий свою всё поправлял, видимо, пытаясь добиться похожести на картину Верещагина «Apotheose des Krieges», и руки его притом мелко дрожали.

Всё это мне что-то напоминало, но что?

Казалось, и вопрос Мефодия был направлен на то, чтобы отвлечь внимание от чего-то, чего-то важного, лежащего на поверхности и потому трудно схватываемого, но, как бывает, настолько очевидного, что курям насмех, если всё, вдруг обнаружится смысл этого, – настолько всё просто в сущности своей оно оказывается.

Мефодий заметил мой взгляд, и дрожь мгновенно прекратилась, видимо, он умел владеть собой и вообще, несмотря на кажущуюся тщедушность, он был ловок, что показала его охота на голубей, и физически развит. Когда он задумался, он легко пальцами в задумчивости согнул и разогнул стальную ложку, изготовленную на заводе Михельсона из бракованного рельсового металла.

Так что его вопрос о моем счастии я принял как отвлекающий вопрос, вопрос, наводящий тень на плетень, но пока было неясно, что есть тень, и что – плетень, и потому я сказал:

– И спрашивать нечего, у меня всё через «не».

– Несчастлив, неустроен?

– Неудачлив, нетрезв, нелюбим, нерадив, – хрюкнул Пашка, словно красный персидский кабан, заслышавший фригийскую флейту.

– Молчи, чучело, – фыркнул на него Мефодий, – а то подавишься.

– А почему у тебя руки дрожат? – спросил я напрямик, придавая голосу всепрощающий иронический оттенок, который как предупреждающий выстрел часового после уставных «стой, стрелять буду», в сущности, еще ничего не значил – ни отрицания, ни утверждения, ни отказа, ни обещания.

Мефодий вздрогнул – выдержка его получила неожиданное испытание, и он смутился, но ненадолго.

– Кур воровал! – воскликнул глумливо Пашка, по понятной причине вошедший в контры с Мефодием, хотел было заржать, но неожиданно вдруг всхлипнул и схватился за горло.

– Ну вот, подавился, – хладнокровно сказал Мефодий, – слова твои поперек горла твоего стали, – примогильным речитативом прокомментировал он случай.

Я вскочил и стал колотить Пропалова по спине, пытаясь или облегчить смерть или вернуть его к бесполезной его жизни.

Мефодий же иронично наблюдал за борьбой жизни и смерти, словно это было соперничество правой и левой руки в картежном фокусе.

Пашка совсем уж было стал затихать, синий, словно утопленник, всплывший поутру в предутреннем тумане, колыхаясь расплывшим вдруг брюхом, неспособным освободиться, наконец, от воды и еды, дать телу спокойно замереть и перестать мучиться судорогами.

Но, днесь, Мефодий икнул, ёкнул селезенкой, словно трофейная лошадь, Пашка невольно повторил его ик с ёком, и кость благополучно выскочила. Это было целое голубиное крылышко, проглоченное им второпях, с голодухи и от невнимательности к еде.

Пашка стал хватать синим ртом воздух, восполняя его нехватку, тихо отошел от стола, лег на кушетку, тихо, по-детски, заплакал, а затем затих.

– Не скрипнул? – спросил я у вездесущего Мефодия, будь он неладен.

– Оклемается, – беспечно махнул он на Пашку рукой, словно усталый санитар, – это умные помирают по глупости, а такие остряки живут долго, кому же они нужны.

– Не любимы они, что ли?

– Небесным Диспетчером? Не берет молодыми, не любит, стало быть... Так ты любил ее? Встречался с ней?

– С казачкой, что ль? Знать не знаю. Да я эту штуку на помойке нашел, впрочем, как и тебя.

– Я сам нашелся, – возразил Мефодий. – Не уклоняйся от прямого вопроса! – он наклонился ко мне, глаза его забегали, а затем подернулись как бы поволокой.

– Была она у меня, была, вот и спрашиваю, у нее вот здесь, – Мефодий ткнул себя в ляжку выше колена, – вот здесь шрам, да? Ну да? Говори!

– Хэ, – вырвалось у меня само собой, – хэ-хэ-хэ, – смикшировал я предательское местоимение, выдающее меня с головой.

– Да я так и думал! Меня не проведешь, я просто по глазам вижу, догадываюсь.

И вдруг я кой-что вспомнил.

Я стал рыться в ящичках, искать по полкам, заглянул под шкаф и кровать и, наконец, нашел в коробке из-под радиоприемника «Волна», выброшенного за ненадобностью давным-давно.

Я нашел кусок то ли вос-ка, то ли пластилина, сдул с него пыль и стал разминать.

– Пластидом торгуешь? – удивился Мефодий. – С плохими ребятами связался?

– Не помнишь? – размял я пластилин. – Припоминай!

Мефодий взял кусок и долго на него смотрел, понюхал даже, а затем в несколько движений вылепил лягушку. На самом деле это была жаба, но мы, всех их лягушками называем. Жаба выкатила глаза, словно удивленный армянин, надула щеки, попыталась спрыгнуть с руки, но не тут-то было!

Мефодий смял ее, и она хрюкнула, переполненная воздухом и болотной жижей. Он раскатал пластилин между ладонями, получилась длинная веревка, и она превратилась в черного полоза, который обвил руку Мефодию и стал завлекать его раздвоенным языком, как бы к поцелую. Но и его смял Мефодий своими ловкими быстрыми пальцами.

Это словно была разминка.

Но я вспомнил! Я поманил Мефодия пальцем, изобразив на лице чрезвычайную секретность, тот подошел.

Я попросил его ногами обхватить столб, подпиравший потолок, пиллерс, как говорят на флоте, и, загнув ему одну ногу под другую, что было не совсем удобно из-за его обуви, усадил его, – так усаживают японцы пленных в бамбуковой роще, чтобы не разбежались. Мефодий хотел было встать, но не тут-то было – японцы знают толк в пытках.

Я как-то попался одному оябуну – не подумай плохого, не матерщинное погонялово, а как бы пахан по-нашему. Ну а если серьезно, то если вы не знаете, что такое Мастер Горы, 489, что такое Хань, и кто такой 426-ой, то вам не понять, зачем втыкают в землю воскуренные палочки, зачем прошивают иголкой с красной ниткой пальцы, чтобы собрать в братскую чашу вашу кровь.

Мефодий почувствовал неладное – он-то знал, что всё это значит, а если что не знал, то догадывался, хотя виду не подавал, под шланг молотил, придуривался, хромой ортопед.

– Что это значит? – стал он крутить головой, изображая недоумение.

– А то! – вдруг ожил Пашка Пропалов, вскочив со своего смертного ложа. – Да тебя за это будут бушлатом гонять по зоне! Понял?

– Где Ляля?– прямо спросил я его, глядя в его побелевшие глаза, словно у умирающего цыпленка. – Ты думаешь у меня амнезия после трепанации? Да я стал вспоминать даже то, что сам не видел, стал догадываться о многом, сущем и существенном, что раньше не замечал.

– Какая Ляля? Что за имя такое, откуда вся эта дурота петушиная?

– Какая? – переспросил Пашка, впрочем, ни разу ее не видевший.

– Да вот такаааая, – изобразил он какую-то одному известную Лялю, очень презентабельных форм, что открывало его вкусы на женский пол.

– Да откуда? Я таких вообще боюсь! Куда мне, хромоногому астенику! Я даже место им уступаю в рейсовом автобусе.

– Давай его лучше задницей на плиту посадим! – предложил Пашка. – Меня как-то в ментуре посадили на электроплитку, – он стал снимать штаны, – так вот, я сдал всех, кто со мной пил в тот вечер и даже соседа, который дал стакан через форточку, так как жена его закрыла на ключ, смотри! – на синей заднице Пропалова виднелся затейливый узор из красных черточек, словно стекло, покрытое изморозью, осветило заходящее к лютому морозу солнце.

– Какая клинопись! – восхитился Мефодий искренне, да там же целое послание!

– Ага! Красноперых комсомольцев грядущим поколениям, – хмыкнул Пашка. – Мы тебе тоже разрисуем на года, откопают тебя грядущие поколения и будут по твоей заднице изучать историю нашего времени.

– Не шути так, Павел, не плюй в колодец! – миролюбиво сказал Мефодий. – Скажу, я всё скажу.

– Давай, колись, где Ляля? – Пашка взял со стола паяльник, который он использовал для рыхления надгробного мрамора, подымил припоем и пахнущей ладаном канифолью.

TAT

– Убери, не люблю! – намекая на паяльник, пахнущий ладаном, вскричал Мефодий. – Приведу вам ее, вот-те крест!

– Дурь наводит? Тюльку гонит? – выразил сомнение Пропалов. – Гарантия!

– Да чтобы мне век свободы не видать! – горячо и убедительно заверил несчастный хитрован. – Не я ли изучал географию по контурным картам на потолке камеры!?

– Другое дело! – воскликнул Пашка. – Это по-нашему, – не без восхищения добавил он. – Блатнооой, на муху «падла» говорит, на сало – «бацилла»!

– Я мигом! – подскочил на своих кривых ножках Мефодий. – И петух не успеет прокукарекать!

Мефодий выхватил из моих рук наездника с пикой, который уже, после обработки зубным порошком блестел как дембельская пряжка, смял его, скатал в бесформенный колобок, сунул под полу своего клетчатого пиджака и, послав нам воздушный поцелуй, процокал к дверям, как подкованная трофейная лошадь.

И еще долго доносилось это цоканье с лестницы, а затем с улицы.

– Тыдыканный конь! – усмехнулся вослед Мефодию Пашка, в котором Мефодий разбудил невиданные чувства, повлиял на него самым неожиданным образом. Таким я Пропалова не видывал. Мало того, что он разговорился по фене, это бог с ним, со всяким бывает, но вдруг Пашка воспылал явной ненавистью к плите с плаксивой надписью: «За што ты нас покинул?».

– Опять с ошибкой? – словно прозрел Пашка. – В школе нужно было нормально учиться, а не елдой груши оббивать, – и треснул почти готовой надгробной плитой по другой, где значилось: «Новое поколение будет жить при коммунизьме!». От многодневной его дятлиной работы остались только мраморные развалины – маленький карфаген его непростой жизни.

– Слесарем в ЖЭК пойду, надоело, их мать! – мрачно сказал Пашка и улегся на кушетку, уставившись в потолок, где, как и было сказано, была нарисована контурная карта неизвестного земного края.

Много лет назад у нас в поселке стали твориться странные вещи.

Как это часто случается, некоторые стали отмахиваться от очевидных фактов, другие разводили руками и чесали затылок, сраженные их очевидностью, а те, кто попроще, у кого еще не было потеряно языческое начало в смутной славянской душе, считали, что просто у нас завелась некая нечистая сила и даже имя ее шепталось с оглядкой: «Упырь».

И следы его обнаруживались повсюду, и присутствие его, несмотря на недоказанность его существования убежденному человеку легко было явить и продемонстрировать, а там было, хоть кол теши, всё в хлыст, всё сходилось по параллельной логике, и легко строилась доказательная база.

Я тоже некоторое время иронично выслушивал чудаков, с воспаленным взором убеждавших всех в упырическом влиянии на события нашей жизни, хотя то, что по ночам кто-то шастал по курятникам, меня особо не удивляло.

Наверное, кто-то из многочисленных детей Вильмана, волжского немца, сосланного в наши края за недоверие к власти, мышковал с голодухи, а то, что коровы возвращались вечером сдоенными, тоже было понятно: многие видели, как Гриня, подрабатывающий пастушком, забирался под корову и сдаивал молоко в походную алюминиевую кружку.

Но случай с Лялей высветил для меня как-то по-новому все разрозненные факты и заставил задуматься, пытаясь осмыслить их и достроить мозаику из недостающих обломков черепицы.

Ляля, старшая дочь Вильмана, вдруг из запуганной, замученной куколки, которую бесконечно терзали ее младшие братья и сестры, превратилась в яркую бабочку с совершенно немыслимой траекторией полета, все только рот открывали ей вслед, удивленные ее трепетным порханием.

Я набрел на нее впервые, когда она сидела на полянке, окруженная притихшей детворой и читала вслух на непонятном языке.

Я прислушался:

– Се фуреур гомбат соудаин, алле се септит прете ас приер.

– А что это значит? – вылез я из кустов, несколько смутив малолетнюю компанию.

Но только Ляля не смутилась, а спокойно глянула на меня и сказала:

– После того, как прошла ярость, она почувствовала желание заплакать.

– По-французски? – предположил я.

– Нет, это не совсем французский, это редкий, малоизвестный язык друидов. Это их сказки, мне один человек подарил.

И, словно в подтверждение своих слов, она закрыла тонкую книжонку, на обложке которой красовался ее портрет, вернее ее портрет в будущем, лет через пять-шесть, потом.

– Как похожа! Это случайность?

– Я и сама удивлена, но действительно, все находят схожесть меня с ней, впрочем, говорят, это часто случается – всё в жизни повторяется снова и снова.

– Это кто сказал? Тот, который подарил книжку?

– Он сказал, что многознание умножает печали, – засмеялась Ляля, словно она была старше меня и ведала что-то, что я не знал. – Пойдем, дети, а то уже вечереет, бегите домой.

Дети бросились через полянку к дому, где ждала их скудная еда, а Ляля, не обращая на меня больше внимания, зашагала в противоположную сторону, через цветущее поле, к кустам багульника, на их дурманящий запах.

Так и исчезла она из моего поля зрения, но зато неподалеку, в кустах обнаружился Гриня, который как зверь крался за Лялей. Он был близорук, несмотря на мощь его и звероподобность, и потому я мог оставаться незамеченным, если находился с подветренной стороны, так как нюх у него был ого! Нюх и компенсировал недостаток зрения.

Кроме того у Грини был мощный голос, с самого детства, сколько помню. И, сколько помню, Гриня по весне сбегал из дома.

Лет в пять он добежал только до околицы – отловили, надрали задницу.

Лет в восемь дошел до соседнего полустанка, надеясь там сесть в поезд и уехать в Москву.

Гриню с детства отвлекали от надсадного крика, включив на полную громкость радиоприемник, а там постоянно звучало: Говорит Москва! В Москве сегодня облачно с прояснениями! Слушайте сигналы точного времени! В Москве сейчас столько-то колов времени!

Или же шли радиопьесы какого-то писателя, где герои постоянно ныли: в Москву, в Москву, чуть что, сразу – в Москву!

Создавалось впечатление, что весь мир стремится туда, и там происходят все самые важные события, заседает правительство и даже иностранные президенты приезжают, чтобы поучаствовать в московских событиях.

А дальше Гриню ловили то в Игарке, то в Дудинке, Маме, Букачаче, Соликамске и Бердичеве. Но однажды он не вернулся: Гриню посадили по ст. 191, ч. 2, по малолетке, и Гриня отсутствовал несколько лет.

Откинулся он по осени, когда раздавали новые бушлаты и сапоги, а поскольку зона его не грела – не тот калибр, – а только рихтовала, Гриня так и пришел, в стареньком бушлате без воротника и кирзовых сапогах, с фиксами из авиационного сплава, и соответствующими его положению наколками, росписями, то есть с могилками, крестами, кинжалами, обвитыми змеями, на пальцах левой руки: «Ляля», а на пальцах правой – «Гриша».

Но самой главной картинкой была наколка на спине – парусник, а точнее чайный клипер, – трехмачтовый, с косым вооружением, кто знает-понимает – засмотришься! Не для юных девушек росписи писáлись на груди и спинах бродяг и лишенцев, а для обозначения истории, сути жиз-

ни и предназначения ее, и в данном случае это значило: «склонен к побегам». Так и было на самом деле.

Куда бежал Гриня, зачем? Куда стремилась его смутная душа, на что уповала? Он не делал из этого тайны, особого секрета: Гриня хотел петь в Большом театре, так как у него был действительно голос, такой громкий голос, что он легко мог разрушить трехлитровую банку из-под помидоров.

У нас продавали в магазине исключительно зеленые засоленные помидоры в трехлитровых банках. Они шли хорошо на закусь, а поскольку потребность закусывать возникала часто, то помидоры расходились бойко, а банок валялось неимоверное количество, и Гриня, тренируя голос, «лопал» эти банки, и они разлетались на мелкие кусочки.

Ну, а далее-то что? Что хотел Гриня, яростный и непокорный, к чему стремился он всей своей нахрапистой сущностью?

Многие, узнав, были поражены! В конечном итоге он хотел уехать-эмиг-рировать, то есть, по-тогдашнему, предать Родину, продать ее за ломаный грош (да и сейчас в этом мало патриотизма).

И это было неожиданно: откуда, так сказать, «у хлопца испанская грусть»? Лучше бы у него была «французская болезнь», как сетовал милиционер Жиббаев, для которого такая страсть Грини была дополнительной головной болью.

Мало того, что завмаг, а, на самом деле, владелец скобяного магазина Лев Давидович, лелеял уехать на историческую родину, потому что у него вдруг на старости лет зачесалось, или, как он говорил, «забурлила кровь моих предков – пастухов и философов», блин, видели когда-нибудь еврея-пастуха? Так еще этот обмылок вдруг заблажил. Кому это понравится? Он стал в своей чистой, как вода с озера Бодун, наследственности искать блох иного происхождения и нашел-таки!

А ведь если покопаться в себе, не просто так, как попало, а пристрастно, как старатели и промысловики ищут то, что им даст все – от радости до смысла, то много, что можно накопать! Так и Гриня, вместе со Львом Давидовичем – вот нашли же друг друга! – занялись преступным гробокопательством и промыслом, залезли в самое что ни на есть малопонятное, задружились с саддукеями, евсеями и фарисеями, ну не в прямом, а в переносном смысле, и понеслась по кукурузе!

Теперь их было не остановить, и для всех, а прежде всего, для Жиббаева, они стали отрезанными ломтями, и каждый был отрезанный ломоть для своей малой, а потом и большой, Родины.

Это стало чувствоваться во всем: на них вдруг стали лаять собаки, которые их знали всю жизнь, более того, Льва Давидовича однажды

боднула корова, обычная, безобидная, жвачная, с добрыми глазами на выкате, которая и муху-то не обидит, но вдруг тут, вернее там, когда Лев Давидович следовал на тайную вечерю в предбанник, где они с Гриней и трактористом Пашей выпивали водку под сало, корова, приглядевшись к путнику, вдруг замычала странно, почти зарычала, и двинулась на Льва Давидовича.

Тот не поверил глазам своим, выставил перед собой, как щит, папку, где тайнописью, то есть молоком, было записанное кое-что по эмигрантским делам, но корова не посчиталась с этим, она толкнула Льва Давидовича рогом в бок, словно хотела сказать на своем коровьем языке: ну и вали отсюда, предатель!

Не только Лев Давидович, но и тракторист Паша, и Гриня, очень тяжело перенесли этот случай, знак, метафору, можно сказать, то бишь, коровий намек. А поскольку они собрались по нелегкому делу, тайный смысл коего может понять только человек бывалый, который не только может выпить стакан водки, не прикасаясь к нему руками, а и границу пересечь нелегально, и прочие антигосударственные поступки совершить.

И если бы какой-нибудь трезвый соглядатай посмотрел бы, чем занимается троица в предбаннике, он бы, как минимум ничего не понял.

На столе лежал тюк синих трусов, штук сто, и троица из каждого изделия извлекала резинку. Затем Лев Давидович, надев круглые очки, что сразу его делало очень похожим на Льва Троцкого, тем самым обнаруживая в нем Бронштейна, растягивал резинку на банном полке́, прихватив с двух концов гвоздиками – смешное занятие, – затем он доставал из папки чистые листы бумаги и водил по ним разогретым утюгом.

На бумаге проявлялись письмена, и, если приглядеться, можно было прочитать Ф. И. О. и паспортные данные разных людей с русскими, узбекскими, украинскими, бурятскими фамилиями и, единственное, что их объединяло – отчество, а то и имя, – было несколько специфическое, типа: Лев, Моисей, Иосиф и его братья, короче.

Все эти данные заносились на растянутую резинку каллиграфическим почерком Льва Давидовича, а когда резинку отпускали с гвоздиков, данные исчезали! То-то удивлялись работники плаща и кинжала обилию синих мужских трусов, которые везли с собой в южные страны отъезжающие из страны бывшие граждане, это еще раз убеждало их в правильности их гражданской позиции, выбранного пути жизни, ведь там, на Западе, даже трусов нормальных не найти, не то что водки!

Но это потом, потом, а пока Гриня устроил настоящую охоту за Лялей, а я стал невольным свидетелем этого. Тут-то у меня и возникла мысль

Гриню разыграть, повести его по ложному следу, ну и, тем самым, спасти Лялю от навязчивого преследователя.

– Гриииша, – тонким, маральим голосом позвал я, перевоплотившись в зовущую игривую девушку.

Гриня ломанулся на голос, словно сохатый во время гона.

– Гриняяя, – еще позвал я его, присев за краем обрывчика, и недолго мне пришлось ждать: надо мной пролетела туша Грини и шмякнулась в кусты багульника.

Раздался стон и всхлипывания.

– Что с тобой? Ты упал? – спросил я участливо, но держась на достаточном расстоянии, так как Гриня обладал не только звероподобной похотливостью, но и беспредельной слепой яростью, при невозможности ее реализовать.

– Упал, – прорычал Гриня, и, без перехода, сразу, – валить, валить нужно отсюда! Во мне, как блохи прыгают гены саддукеев и фарисеев, они мне не дают покоя, они зовут меня, шепчут мне, кричат: «Вали, Гриша, отсюда! Нет здесь твоего счастья и не будет».

– А делать-то что будешь? Чем зарабатывать на жизнь, ты подумал?

– Я? Петь буду в Большом, в театре петь буду, голос у меня. «Блоху» буду петь. В Москве любят слушать, как поют «Блоху». Слушай: – Ха-ха-ха-а-а, блохааа! – пропел он. Пропел мощно, зычно, впечатляюще.

С тех пор я стал внимательно следить за тем, что происходит в поселке, и мне открылось многое:

...что тайные сборы ведутся в предбаннике.

...что к Ляле кто-то приходит говорить на иностранном языке.

...что кто-то за околицей играет на гармошке.

Гармошка была только у Яшки-цыгана, и ее не так давно сперли, а теперь кто-то на ней играл и бродил по ночам в темноте.

Кое-что из непознанного я решил разузнать, особо меня заинтересовала пропавшая гармонь.

При свете луны и в густом ночном тумане как-то я пошел на звук, решил выяснить, откуда доносилась столь жалостливая мелодия. Иногда казалось, что играют несколько гармонистов по очереди, в разных местах, продолжая мелодию и перекликаясь, аукаясь, или же разговаривая через туман, кусты и темень.

И вдруг мелодия закончилась, я остановился, не зная, где я нахожусь, так как забрел достаточно далеко. Тут совсем рядом со мной раздался тяжелый вздох, так вздыхали дремлющие коровы, и я увидел: совсем неподалеку на пенечке сидел, освещенный луной какой-то человечек, склонив горестно

голову, перебирая пуговки ладов, но беззвучно, не решаясь раздвинуть мехи, словно аккомпанируя установившейся тишине, ползучему туману, ряби лунной дорожки на воде озера под названием Бодун.

От увиденного я неожиданно чихнул, и мой чих прозвучал, словно выстрелила мортира, заряженная серой от спичек: шипение с холостым выстрелом – шуму много, толку мало.

Человечек вскочил, дико оглянулся, и прытко сиганул в кусты, только в темноте ёкала гармошка, как перепуганная базарная баба.

Под утро, к петушиной побудке, я вернулся на свой чердак, где я обосновался не так давно, организовав свое личное пространство, с моими дорогими и привычными мне предметами.

Утро начиналось у меня с далекого звука, с рокотания на ферме.

Начиналась утренняя дойка. Я вставал и начинал вглядываться в небо – единственное, что у нас менялось, остальное только переживало времена года, да фазы луны. Стояла напряженная оранжевая осень, и пора было колоть свинью. В связи с этим Вильман тоже встал пораньше, хотя он и так всегда вставал рано – гутен морген, – и принялся точить нож.

Дело в том, что отец мой, в прошлом мастер штыкового боя, впрочем, как и дед, вообще убийства никакого не терпел, даже курицу зарезать не мог, что столь необходимо было в простом крестьянском хозяйстве, при котором существовал наш рабочий поселок, где человек жил на кой-какую зарплату от работы на ремонтном заводе, где ремонтировали проржавевшие до изнеможения трактора или на рытье канала, который затеяли с неясной целью, но с явным намерением соединить две речки.

Народ жил своим подсобным хозяйством, приберегая деньги на всякий случай, и в магазин ходил только за «казёнкой» для отвода глаз, так как в каждом доме, даже у староверов, которых звали просто «кержаками», ва-рили самогон.

На то время, что отводилось для приготовления ритуального убийства свиньи, отец покидал дом, все знали эту его слабинку и закрывали глаза на нее. С отцом на эту тему шутить было опасно.

Куда он уходил, я знал: он уходил подальше от всего живого, визжащего, хрюкающего и чавкающего к своему старому трактору, который он самолично разбирал, смазывал, менял фильтры и подшипники, закачивал смазку в различные узлы, собирал все это, дергал за ручку стартера и обновленный трактор взвывал, радуясь обновлению, а затем, когда запускался двигатель, он начинал утробно урчать, благожелательно демонстрируя свою мощь, волю и трудолюбие.

Пока Вильман шваркал ножом об точильный брусок, стал собираться народ. Кто посмотреть, а кто и помочь.

Подошел Яшка-цыган, вернее, подкатил вместе с замершим мотоциклом М-72, с надеждой, что отец поправит отказавший работать кардан.

Гриня с непонятным весельем в глазах пришел подсобить, он напевал себе под нос, как ему казалось, но от его пения начинали подвывать собаки и индючить петухи.

Пришел Жиббаев, неся в руках огромный капкан и пару поменьше, за ним появился и Саша Шмуклер, путевой обходчик, бывший проводник, за ним – Лев Давидович и Паша-тракторист.

– Это на кого капкан?– поинтересовался любознательный Лев Давидович. – Что-то давно не видел в наших краях медведей.

– Медведей-то нет, а вот лиса, этт, повадилась, всех кур перетаскала у меня из курятника, медведь что, курей-то не ест, наверное.

– Это как сказать. Вот если хорошо приготовить, – пошутил Саша Шмуклер.

– Ну, вот еще, ему и приготовить, скажешь тоже! – фыркнул простоватый Жиббаев.

Действие продолжалось по своему заведенному плану. Гриня стал помогать Вильману в его забойном деле – он вытащил за задние ноги свинью во двор, а надо сказать, что свинья была не кормлена в связи с предстоящим мероприятием, не понимала, что происходит, и по-собачьи крутила головой. Гриня подсек ее, уложил набок на солому, та сначала заверещала, но Гриня стал чесать ей бок, и она поверила подлым ласкам его.

– Анекдот знаешь? – спросил Шмуклер.

– Не-а, – ответил Гриня, напевая. – Любовь нечаянно нагрянет...

– Бабка попросила двух зэков зарезать свинью, те – нет вопросов, свинью, так свинью...

Вильман разложил на столе набор ножиков, словно он готовился к хирургической операции.

Паша-тракторист стал накачивать паяльную лампу.

– Так вот, – продолжил Шмуклер, – закрылись они в стайке́, и оттуда стали раздаваться мат, визги...

– Так может, соломкой, соломкой лучше? – спросил Лев Давидович у Паши.

– Соломкой-то лучше, да дольше. Что, карасину жаль, што-ль?

– Наконец они вышли, усталые, оборванные, покусанные, – хихикал Саша сам над анекдотом. – Бабка им: ну что, сыночки, зарезали?

И Шмуклер схватился за живот, так смешно ему стало.

Все уставились на него, не понимая, что его скрючило.

– Нет, зарезать не зарезали, зато пиздюлей надавали!

И Саша упал на соломку и стал кататься от смеха.

– И чего смешного? – удивился Гриня. – Сало только испортили, вот идиоты! Свинью забить – не в перевертушки сыграть, – дело тонкое и ответственное!

– Как жертвоприношение, – с корявым акцентом подтвердил Вильман. – Ритуаль!

Вдруг во двор вбежала запыхавшаяся Ляля и стала что-то горячо говорить отцу на ухо.

– Я-а. Вас бедойте? Нихт ферштее, вас ист лос? Нихт, айне швальбе махт нох кайне фрюллинг!

– Что? Что он бормочет? – забеспокоился Гриня, глядя вслед убегавшим в дом Ляле и Вильману.

– Какая-то обезьяна попалась в капкан у них на пасеке, – сказал Саша Шмуклер.

– А ты откуда знаешь?

– А я все языки понимаю понемногу...

– И немецкий? – подозрительно посмотрел на него Гриня.

– А то! Я на нем думаю почти.

Свинья, воспользовавшись заминкой, сообразила, наконец, что всё это дело может плохо кончиться для нее и, улучив момент, тихо прокралась мимо Грини, а, заметив дырку в заборе, проползла по-собачьи под прясли нами – и была такова!

Гриня же направился в дом Вильмана, чтобы разузнать, что к чему.

На моем чердаке осы свили гнездо, и я подолгу смотрел, как они, словно подчиняясь какому-то своему единому центру, выполняют разведывательные полеты, производят необходимые работы по улучшению своих жилищных условий, и было совсем непонятно, какой разум управляет этой упорядоченной суетой.

– Эй, пацан! – прервал мои наблюдения и размышления голос.

Я выглянул: по лестнице, как-то странно прихрамывая и позвякивая, ко мне на чердак пробирался незнакомый человек.

– Можно к вам? – спросил он, кривя губы, будто у него болел живот, потом ввалился на чердак и перевел дух.

– Проходил мимо, дай, думаю, зайду к доброму человеку, дух переведу... Мефодий... – протянул он руку, но смотрел куда-то мимо, словно не со мной разговаривал.

– Иван, – протянул я свою. Он схватил ее, слегка вывернув в кисти, и посмотрел на мою ладонь.

– Однако же, однако же, – удивился он, покачал головой, – Водолей, притом еще Художник.

– Нет, я и рисовать-то не умею, – возразил я странному утверждению Мефодия.

– Это не важно. Художник – даже если наплюет, – это будет произведением искусства, потому что он Художник, образно говоря.

Мефодий засунул руку в нагрудный карман своего брезентового плаща, достал оттуда какую-то мелочь, гвозди, коробочку с затейливым старинным рисунком и затем, наконец, достал, что искал – завернутый в холщовую тряпку кусок, похожий на воск или на пластилин, – но явно не то и не другое.

– Это как раз тебе. Как знал – захватил с собой. Бери и мни, мни.

Я взял странный материал, тягучий и тяжелый, словно очень мягкий свинец, но золотистого цвета, как пчелиные соты.

– А хорошо разомнешь – лепи!

– Что лепить-то? – совершенно не понимал я этого Мефодия, вроде и не похож был на сумасшедшего, но нес странные вещи, явную околесицу.

– Горбатого лепи! – захохотал своей шутке Мефодий. – Он будет увеличиваться в размерах, но ты, главное, добивайся вязкости, вот таак, чтобы, когда на разрыв растянешь, не меньше метра оказалось, как тесто хорошее проверяют, знаешь?

– Нет, а зачем мять-то и лепить?

– А вскоре поймешь. Есть вещи, которые понимаешь в процессе, по конечному результату вообще непонятны они, непонятно, что откуда произошло, потому и непонятны. А у тебя отвертка есть?

– Есть, – подал я ему отвертку.

– Тут в какую-то хреновину попал, отцепиться не могу, – звякнул он металлом.

Тогда я понял, почему он так странно кривил губы: правая его нога была зажата в медвежий капкан. С большим трудом мы его открыли, и Мефодий освободил ногу. Он вытянулся в хрустящем плетеном кресле, а ногу положил на лестничную перекладину.

Я же взвел капкан, взял черенок от лопаты и ткнул им в язычок. Капкан лязгнул и впился в черенок, словно крокодил – видна была мощь и сила захвата. Мефодий вздрогнул и отвернулся, видимо, лязг этот и вид хищной пасти ему был неприятен.

Лестница заскрипела, появился Гриня с большой банкой политуры.

– Дай кружку и палочку какую-нибудь, – сходу заявил он, но, увидев Мефодия, заинтересовался:

– Кто таков? Что-то раньше не видел тут.

– Изыскатель, Мефодий, – представился гость.

– Григорий. Что потеряли в наших краях? – затеял он подобие светской беседы.

– Точку модального схождения энергетических векторов, – пояснил Мефодий.

– Вон оно что! – удивился Гриня. – А с виду и не скажешь.

– С виду чего?

– Похож на беглого арестанта в поисках поживиться чем. Где был, что видел?

– Много что видывал, где побывал.

– Ну а в Москве был? В Большом театре?

– Был, конечно, как же не быть в Большом, там и однокашники мои подвизаются, театралы, стало быть.

– Так это ты, изыскатель, шастал по полям с треногой? – сунул в слуховое окошко свою любопытную рожу Яшка-цыган. – Бегал под окнами по ночам?

Тут появились Шмуклер и Паша-тракторист.

– С астролябией. Точку искал. Точку секвенирования митохондриального схождения. Здесь, в этих местах она и находится, иначе, что бы я тут делал?

– Нашел? – иронично спросил Яшка и обвел всех своим хитрым цыганским взглядом.

– Да, нашел. Именно здесь, ровно через 7.300 дней, – начал Мефодий, и все переглянулись, а Шмуклеру попался калькулятор, и он стал вводить в него цифры, – день в день, произойдет солнечное затмение, и наша жизнь поменяется необычайно, настанет эпоха Водолея, и Россия, пройдя сквозь все беды и испытания, вступит в новую фазу развития, и наступит жизнь, совсем непохожая на прежнюю.

– Разве что-нибудь может еще произойти под этим низким суконным небом? – продолжая вносить данные в калькулятор, прокручивая его ручку со страшным треском, спросил Саша.

– Именно! И именно отсюда всё и начнется! – убежденно сказал Мефодий. – Я нашел ее, градус-в-градус, и на том месте вбил кол.

– Осиновый, – хмыкнул Гриня.

– Нет, нет, ваши шутки ни к чему! Я вбил дýбовый кол, собственно, росток. Обозначил место.

– Видел, видел, в поле стоит. Бабка Шепотуха козу к нему вяжет.

– Именно с этого места и начнет всё раскручиваться, попрет модальная энергия России, маятник пойдет в обратную сторону.

– Сомневаюсь, конечно, – качнул кудлатой головой Шмуклер, – но, как красивая гипотеза, годится!

– А война будет? – тревожно спросил Паша-тракторист. – Лишь бы войны не было. Стрельбы боюсь и громких криков.

– Будет, – уверенно сказал Мефодий. – А как же ей не быть?

– Посмотрите вокруг, всё об этом говорит, так ведь? – спросил он вдруг у меня.

Откуда мне было знать? Я пожал плечами.

– Столько народу ходит с перекошенными лицами, словно у них колики в животе и почках, это видно даже неискушенному человеку, а у художников глаз наметанный – как только на лице у кого неожиданная складка или морщина, так это им говорит больше, чем монолог исповедальный.

Наконец Шмуклер закончил свои вычисления и, торжественно оглядев всех собравшихся, объявил:

– Всё это произойдет 21 марта 2015 года, полное солнечное затмение, через 20 лет!

– Через 20 лет? В 2015 годе? Ну ты, каббалист! Не доживем!..

– Ну, и слава Богу! Смотреть на это еще 20 лет – невмоготу!

– А куда денемся? Доживем! Еще споем, еще спляшем!

Гриня оживился, глаза его заблестели, он закончил размешивать политуру, доведя ее до нужной консистенции, и налил славной жидкости в алюминиевую кружку немного, на пару-тройку глотков.

– Примешь на грудь за знакомство? За точку?

– Отчего же не принять? Политура подстегивает и бодрит мысль.

– Конечно, – подтвердил Гриня, – иногда нужно прям с утра, невмоготу. Ну, за кол ду́бовый, как говорится!..

– Я тоже иногда только, а так предпочитаю виски, – сделал свои три глотка до дна Мефодий.

– А «Блоху» поют в Большом? Ну, «ха-ха-ха!..»

– А кому петь-то? Теперь некому. Приезжал афроамериканец, но у них «блоха» по-другому называется, эффект не тот, согласись!

– Афроамериканец? Это как?

– Негр, по-нашему, дядя Том.

– А, черножопый! Видел на картинке. И как так можно загореть?!

– Они рождаются такими.

– Не может быть! А как?

– Загадка африканской природы, – таинственно сказал Мефодий.

– А вот если по-русски им спеть «Блоху», что будет? Ведь не слышали никогда настоящую «Блоху», русскую!

– Да, без русской «Блохи» им не выжить, – хмыкнул Шмуклер, почуявший своим длинным носом запах политуры, и встрял в разговор, даже не подумав предварительно.

– Вы так считаете? – осведомился деликатно Мефодий.

– А то! Мы всему миру еще, бля, споем! Заслушаются... – стал чесать нос с намеком Саша, но Гриня уже допёр, разливая всем бодрящий напиток.

Что самое характерное, оба они представляли собой две противоположности: у Грини голова была круглая, нос картошкой, волосы прямые, цвета хаки, руки с огромными кулаками, а у Саши голова напоминала дыню, нос был, словно клюв ворона, волосы – золотое руно, а руки были загребущими, и он не мог их удержать даже в карманах, то и дело что-нибудь хватал, переставлял с места на место, ломал и прятал сломанное.

– Народ у нас особенный, – выпив, сказал Саша, – склонен к философии, к непроизвольным умозаключениям.

– Особенно после политуры, – поддакнул Гриня одобрительно.

– Я и сам не прочь, – продолжил знакомство с народом Мефодий.

– Что наша жизнь? – обвел он взглядом новых знакомцев. – Что она? В чём смысл?

– Мне кажется, такое ощущение, что достаточно ответить на несколько определяющих вопросов, и ответы на них все прояснят, – занюхивая политуру масленым рукавом железнодорожного бушлата, как можно более расплывчиво, для поддержания разговора и развития темы, ответил Саша.

– Первейший вопрос: есть ли у тебя феня или нет, – веско сказал Гриня.

– А что есть феня? – поинтересовался Мефодий с целью осознать смысл местных понятий и приоритетов.

– Ну, вот я – я пою, и не просто пою, я пою «Блоху» – это не просто песня, а, как бы выразиться понятней, песня песней.

– Как в Ветхом Завете! – проявил недюжинные познания Шмуклер. – Только там не про блоху.

– Да, там руки не дошли до блохи, – подтвердил Гриня, – а мы ее даже подковали. А Вильман вот колет свиней – это его особенность.

– А я? В чем моя особенность? Зачем я? – почти взмолился Яшка.

– Ты – цыган, и этим сказано всё.

– Так просто? И что сказано этим? Говорят, мы вышли из Индии много тысяч лет тому назад, имея перед собой какую-то огромную прекрасную, благородную цель...

– Нет, Яшка, не всё так просто, как тебе кажется. Вся особенность человека состоит в том, что его связывает с Создателем, – голос Саши стал торжественным и гулко зазвучал под сводами чердака. – А я – еврей, человек с того берега...

– С какого ты берега, Саша? – испуганно спросил Яшка.

– И человека определяет его отношение к евреям, – продолжал вещать Шмуклер, но голос его стал проникновеннее.

– Давайте подробней в этом месте, – вмешался Мефодий. – Итак, многие считают, что не любить евреев нехорошо, с одной стороны...

– А с другой – не за что! – выпалил Гриня и хмыкнул, бодро поглядывая на Шмуклера.

– А любить – неправильно. – продолжил Мефодий, и его голос тоже поменялся, а внешне он стал походить на заезжего старьевщика, который меняет тряпки на свистульки. – Получается как? Сионизм – высшее проявление национального духа, так? Так. И если ты, так сказать, обижаешь евреев за их национальную принадлежность, то ты способствуешь их сплочению, единству, сионизации. Значит, чтобы любить еврея, его нужно не любить, – заключил хитроумно Мефодий.

– То есть как? – опешил Гриня, пораженно глядя на Шмуклера.

– Так выходит, – опустил глаза долу Саша.

– А если ты его любишь, так значит, не любишь?..

Все были поражены не менее Грини, стали внимательно разглядывать смущенного вниманием Шмуклера, его нос, уши, золотые кудри, и пребывали в недоумении.

Один Гриня нашелся:

– Во нация! Во запудрили мóзги!

– Так как же, Саша! – вскричал горячий Яшка. – Как же так? Значит,я тебя не любил? А когда ты отравился брагой на табаке, зря я отпаивал тебя конской мочой?

– Значит зря, – не поднимая глаз, словно зная какую-то извечную тайну, но боясь ее приоткрыть даже взглядом, намеком, тихо ответил Саша.

– Что же делать? Как так?

– А давайте сбросим его к чёртовой матери с крыши! – устав от умных разговоров, предложил Гриня.

Предложение понравилось своей новизной и определенностью.

Налили теперь уже в граненые стаканы, по торжественности момента, чокнулись «камушками», соблюдая все церемонии, сжав стаканы всей пятерней, и ударив друг об друга ребрами донышка, чтобы добиться соответствующего звука.

Выпили, а затем взяли Шмуклера за руки и за ноги, раскачали и на счет раз-два-три сбросили его с крыши в огород.

Мефодий глянул из чердачного окна – Саша лежал в капусте и счастливо улыбался.

– А мне иногда кажется, что еврей, в отличие от немца или цыгана, не нация... – задумчиво сказал тот и засмеялся.

– А что это такое?

– Ну как бы мироощущение, состояние духа...

– То есть, не понял, – напружинил лоб Гриня.

– Вот ты, Григорий, чувствуешь свое вселенское одиночество?

– Я-то? А то как же! Когда один в лесу, например, а то и дома, когда никого нет, – чувствую!

– А то, что ты не такой, как все, и что какая-то тайна связана с твоим рождением, жизнью?

– Как в воду смотрел! Мамка всё говорила в детстве: и в кого уродился, сама не пойму.

– Вот! – радостно закричал Яшка, – давай его туда же, а то Сашу выбросили, а он... Еще друг называется! Я тоже, как Аза уходит на станцию гадать, так места не нахожу.

Как ни странно, свинья вернулась. Что двигало ею – понять было трудно, – не только привычное корыто манило ее, но, видимо, и долг она ощущала перед обществом, вскормившим ее, вспоившим.

Долг – дело трудно понимаемое. Кто лишен этого чувства, вряд ли поймет другого человека, им, этим чувством, отягощенным. Это поболее будет карточного долга. Это понятие скорее нравственное, и им чушка была отягощена, в отличие от многих людей, не имеющих его ни перед родителями, ни перед соседями, женой, детьми и, трудно сказать, перед Родиной!

Иной ведь как? Ест хлеб, пьет березовый сок, дышит воздухом полей и лесов, а поманила его какая идея, хлоп, и будьте любезны – хочу жить и страдать во Франции, как будто тут, на родине ему этого не хватает. И много таких, много... А вот Машка, чушка, казалось бы, дальше корыта своего ничем не интересовалась, а ведь как почувствовала долг свой и вернулась, вернулась исполнить свою миссию, в жертву себя принести во имя высшего предназначения!

Вильман, пряча за спиной длинный острый нож, подошел к Машке и заговорил с ней, заговорил по-немецки или ему казалось, что он говорит на этом языке, так как он его использовал только тогда, когда забивал сви-

ней, впрочем, его приглашали для забоя и крупного рогатого скота. В остальное время Вильман по-немецки не говорил, и даже не понимал, если кто-то при нем вдруг вспоминал родную речь, видимо во время работы он исторгал какие-то глубинные звуки, отчасти похожие на язык его предков.

И чушка, заслушавшись непонятных речей, покорно пошла навстречу своей судьбе, а Вильман, исполняя *ритуаль*, медленно и точно всадил ей в сердце нож, чтобы остановить его.

Как только Вильман достал нож и приблизился к чушке, отец запустил стартер трактора, и тот взвыл, заглушая все звуки на свете – кукареканье петухов, квохтание кур, пение птиц, визг поросенка, а также гул летящего реактивного самолета, может быть, даже бомбардировщика, летящего со смертоносным грузом к какой-нибудь далекой стране, чтобы им жизнь раем не казалась.

Последний крик чушки вознесся острым шилом вверх, к небесам, словно посигналил, что та сущность, в которой животине человек отказывает, а присваивает только себе и называет ее *душой*, покидает упитанное тело и возносится туда, куда никто и не знает в общем-то, предпочитая называть то место по-разному, например, куда Макар телят не гонял.

А всё, что остается, без особой мистики и романтики пойдет в дело в крестьянском хозяйстве, вплоть до закопченных ушей, хвоста и пузыря, который ребятишки надуют и будут гонять как футбольный мяч.

Такова судьба простой свиньи, а уж судьбы других персонажей не менее загадочны и удивительны.

Вечером все собрались на большое застолье – так повелось с давних пор. Во дворе поставили столы, накрыли газетами, такого количества скатертей иметь не имело смысла, да и статьи порой попадались для прочтения любопытные: в «Труде» публиковали о несунах и хапугах, в «Гудке» – смешные фельетоны, «Правду» же использовать не решались, мало ли что, донесет кто-нибудь, неприятностей не оберешься, да и читать там было нечего.

Как водится, приняли уже по несколько полстаканов, и прошло и «колом и соколóм, и мелкими пташечками», под слова «ну, будем пухленькими, за всё, ф-фу, чтобы не последнюю, и как ее только коммунисты пьют» и прочие, соответствующие данному случаю, слова.

Завязался оживленный разговор, все веселились, только Гриня сидел мрачным: так получилось, что Ляля сидела на другом конце стола рядом с Мефодием.

Вдруг Вильман постучал вилкой по стакану, а отец, вернувшийся к тому времени домой, за общий стол, скомандовал: Тих-хо!

Шум понемногу затих, все воззрились на Мефодия, вставшего со своего места, многие видели его впервые и присматривались, что за человек, каков он, и откуда взялся.

– Я хотел бы сказать, – вяло поначалу и, глядя куда-то в сторону, начал Мефодий, – небольшую речь, по случаю, уж коли мы тут все собрались и будем говорить и спорить. Единственный вопрос, который всех интересует, если отвлечься от мелочей, что есть жизнь? Что есть жизнь?

– Способ существования белковых веществ, – почти выкрикнул Саша Шмуклер, подглядывая за формулировкой в газету «Гудок».

– Напряженная деятельность на благо общества, – подглядел в «Известиях» фразу молчавший до того Паша-тракторист.

– Сплошные страдания, – горячо, но от себя выпалил Гриня, опалив взглядом притихшую Лялю.

– Так ли это? – сам себя спросил Мефодий. – Жизнь в темнице, в страданиях души своей, разве это жизнь?

– Не жизнь, – подтвердил Гриня, – тянет утопиться в озере Бодун.

– Не жизнь... – поддержал его Мефодий, глянув на Шмуклера. – Да, существование, но, существование без страдания, а? А в счастии!

Все оживились, привлеченные глубокой, проникновенной мыслию.

– Да! В счастии! И все мы странники, даже в самых темных и потаенных уголках души своей мы плутаем, бродим. Мы ищем счастия. Счастия, как великой согласованности своей сущности, своего желаемого с общим действительным, ищем своей *предназначности*.

Мефодий говорил всем и каждому в отдельности, и все обратили глаза как-то вовнутрь, и крепко задумались о своей *предназначности*.

Я вытащил кусок, данный мне Мефодием, и стал его разминать, может действительно, в этом есть моя *предназначность*, в соответствии с его глубокой речью. А тот всё продолжал:

– Понять нужно сущность свою, принять и жить по ее взысканию, вот смысл жизни, вот путь к счастию. Только в соответствии с собственным устремлением и общим порядком жизни можно обрести гармонию души и тела.

– А душа-то причем? Какая еще душа? – вспылил мрачный Гриня, но на него зашикали: гость изъяснялся умно и странно, раньше таких речей они не слышали, пожалуй, со времен коллективизации, да и то свидетелей того мало осталось.

– Вы спросите, например, как быть, если человек, например, вор? И что, что делать ему, если у него руки чешутся стибрить что-нибудь? Может, даже просто так, для остроты ощущений? А ничего, отвечу я, для эко-

логического равновесия жизни вор так же ценен, как и учитель, там, – показал пальцем на перистые облака Мефодий. – Все равны и необходимы, художник и бандит, проститутка и поэт, овощевод и убийца. Да, все, все необходимы. Не приведи такое несчастие, что кого-то из них не хватает в жизни, всё! Нарушен баланс в великой ее организованности, из-за маааленькой хромосомы всё может пойти наперекосяк. И следует добавить, и это очень важно, это и есть великая тайна, которую тщись понять, человек, если в этом организме, муравейнике, проще, связанном невидимыми нитями, заменяющими нервные волокна и кровеносные сосуды, есть способность к самовосстановлению. Например, не хватает одного из компонентов, персонажей этой драмы, то он находит его, исторгая его из своих рядов, делая из художника убийцу, если тогоне хватает, и наоборот, из убийцы и насильника делает художника. Навязывает этот необходимый персонаж и обязует его, отмечает и призывает на это место. Будьте внимательны к призывам муравейника, вас зовут, кто вы? Вор? Поэт? Проповедник или землемер? Но свято место пусто не бывает, торопитесь, иначе займет его другой, только, как и было сказано, чувствуйте свою *предназначность* и *востребованность*.

Все слушали и волновались, переглядывались и перешептывались.

Я же мял свой пластилин, скорей машинально, чем с определенной целью, но, тем не менее, в нем иногда проглядывались очертания то чушки Машки, то Шмуклера, находившегося в предобморочном состоянии.

Иногда получалась Ляля, но в обнаженном виде, что было любопытно, так как я ее голой не видел.

Иногда неожиданно получался совсем случайный персонаж, например, бабка Шепотуха, которую я не видел с тех пор, как она заговорила мою кровь, когда я почти откусил свой язык, упав с печки.

Являлись и люди давно умершие, которых я и вовсе видел мельком, но которые отчего-то запомнились мне.

Я окончательно сполз под стол и занялся разглядыванием своих персонажей. Это было удивительно тревожное зрелище. Казалось, они сами образовываются из пластилина, являются из него и те, которые есть, и те, которые были, особенно те, которые были, если их поместить в пучок света из щели между плахами столешницы. Казалось, они открывают рты, машут руками, как глухонемые, которые что-то хотят сказать, да не могут.

Особенно меня привлек однополчанин отца. Я видел его сначала на фото – они снялись на фоне какого-то разрушенного города в черных флотских кителях, – а потом я его увидел в черном длинном женском платье и с седой заплетенной косой.

До того я никогда не видел священников, даже не предполагал, что такие еще существуют. Он легко явился в пластилине, в стекающей рясе, поднял голову и с огромным усилием разомкнул губы, чтобы что-то сказать. Я укрылся брезентовой курточкой и напряг слух, но ничего не было слышно.

Я приложил невероятные усилия и по губам попытался прочесть, что говорит уже давно ушедший отец Константин, и понемногу, из общего гула собравшихся, из звяканья ложек, стука ножей, чавканья и даже хрюканья, я стал слышать его голос: «...имея надежду на то, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего они и сами желают...», – тут произошел сбой в общем гуле, кто-то неожиданно упал со скамейки и слов было не разобрать. Зато дальше, когда упавшего стали поднимать, а он стал кочевряжиться, определенно послышалось: «...подвизайся иметь совесть непорочную перед людьми и Богом...».

Что хотел сказать этим он, я не понял совершенно, но зато обратил внимание на то, что он весьма похож на самого Мефодия, но как-то странно похож, словно обратная сторона медали на медаль, орел на решку, негатив на позитив.

А еще я обратил внимание – несмотря на то, что под столом было темновато, – как среди сапогов, туфель, ботинок и даже валенок, ярко сияли коленки Ляли, которые поглаживала рука Мефодия.

Это еще раз подтвердило мое убеждение, что, чтобы выявить скрытую сущность вещей и событий, необходимо на мир взглянуть с иной стороны.

Когда я вылез из-под стола, все сидели, тихо переговаривались, потрясенные открывшимися перед ними смыслами. Каждый в той или иной степени понимал это и сам, чувствовал это, хотя вряд ли мог так выразить словами, так обобщить, довести до каждого и в отдельности и для всех сразу, как это сделал Мефодий. Крепко смутил он умы, а сам, кстати, исчез куда-то. Но тут всеобщую благочинность и раздумчивый выпивон прервал заводной Жиббаев:

– А-а! Я его, э-эх, поймал всё-таки! – веселился азартный татарин.

Выяснилось, что он закрыл в курятнике кого-то, кто, вероятно, и воровал кур.

– Будем бить! – прозвучало призывное.

Все вздохнули облегченно: появилось, наконец, общее дело.

Гриня выломал кол из плетня и двинулся к курятнику.

За ним остальные, засучивая рукава, покрякивая и покашливая.

В курятнике, среди обезумевших кур кто-то темный метался, весь в пуху и помёте, и дверь была крепко закрыта. Гриня рванулся было к двери, но возникло предложение выпить перед делом и обсудить без горячности,

спокойно процесс наказания ворюги. Все, не торопясь, вернулись к столу, налили, хряпнули, закусили, весело переглядываясь друг с другом.

– Кто же это? Кто? – висел вопрос над народом. Кто этот мерзавец, столько времени наносивший вред и остававшийся не пойманным.

– Бить будете? – спросил жалостливый Саша. – Ему же больно будет...

– А нам не больно было? Не было нам больно? Нам было не больно? Не муторно? Не плющило нас от неведения? Не колбасило?

Все снова двинулись к курятнику. За всеми поплелся и Шмуклер, роняя пьяную слезу.

Гриня рванул дверь и смело бросился в курятник.

Раздалось дикое кудахтанье. Пух и перья вылетели во двор и запорошили траву и кусты. Обезумевший петух выскочил первым и без обычного гонора шастнул с глаз долой.

Гриня вышел, держа по паре трепещущих кур в руке, вращая в ярости глазами:

– Нету его, смылся!

Вслед за Гриней вышла Ляля, смущенно поправляя платье, которое ей давно уже было мало, она выросла из него, что доставляло множество неудобств похотливой части населения.

Никто не заметил, как наступило утро и по утренней измороси, первому заморозку, побелившему траву, четко виделись следы, уходившие по полю в лес, словно две неровные строчки.

– Ляля! Ты куда, доченька? – заплакал Вильман, а Гриня застыл с колом, словно истукан, словно памятник самому себе.

Все горестно и подавленно молчали.

И у каждого внутри почему-то стала биться и стучаться невостребованная сущность, *предназначность*, зовущая к жизни, к счастью.

На лестничной площадке послышалось цоканье каблуков, громкий смех Мефодия и звонкий женский.

– А где, где у нас здесь художники? – с порога зашумел Мефодий, – где они, ускользающие от государства в тонкое пространство духовного жеста? Где они спасаются от тяжести мира и насилия проявленных форм?

Я шагнул было навстречу, но Мефодий подскочил ко мне и ладонью закрыл глаза.

– Закрой, закрой глаза и отвернись.

Я закрыл глаза и отвернулся.

– Как увидел меня, так и закричал: где Ляля, где Лялечка! – засуетился, затопал Мефодий.

В ответ раздался тонкий женский смешок. Сердце мое дрогнуло, я знал этот смех. Я открыл глаза.

На табурете сидела, на манер скульптуры перед торжественным ее открытием, закрытая драпировкой женская фигура. Из-под драпировки торчали только маленькие босые ступни. Мефодий держал край драпировки, готовый в необходимый момент сорвать ее.

– Знаешь, кто там?

– Знаю.

– Не совсем знаешь. А я скажу, что там, под драпировкой, тоже путь к спасению.

– Я думал просто девушка, судя по фигуре.

– Да, это тоже путь к спасению, только через пол, – многозначительно, по-профессорски сказал Мефодий.

Из-под драпировки зазвенел колокольчиком соблазнительный девичий смех.

– Как именно спасается?

– Да. В него человек погружается для наслаждения собой, да, не другим, а собой. Ибо пол есть первый признак становящейся личности. В нем человек разрушает коллективные инстинкты и становится индивидуальным настолько, что он недоступен ни государству, ни обществу... И, опять же, недоступен насилию проявленных форм.

Мефодий сдернул драпировку, и Паша Пропалов стыдливо отвернулся, а я замер пораженный.

Да, на табурете сидела Ляля, но как будто ее накачали воздухом, или она распухла от водянки.

Прошло не так много времени с тех пор, как мы не виделись, всего-то ничего, я только успел оглянуться, посмотрел, что вокруг и чуть дальше, что творится в беспредельном мире, совершить несколько необходимых мне ошибок, испытать некоторую горечь разочарований и сомнений, но не потерять лицо, а моя юность, моя Ляля изменилась так, что узнать ее мог только я.

В соблазнительной позе сидела голая бабища с засосами на шее, подбитым левым глазом и опытом жизни, с лицом, помеченным бурными годовыми кольцами на древесине неизвестной породы, похожей на паш-дерево.

Я попытался сделать вид, что не узнаю ее, что мы не знакомы, что это *чья-то* молодость и любовь, *чья-то* бывшая мечта и надежда.

– Здравствуй, это я! – захохотала она. – Только не делай вид, что не узнаёшь! Тут один стал притворяться, что мне ничего не должен, так до сих пор хохочет и подушкой отмахивается. Как ты, милый?

– Как ты, Ляля?

– Моя молодость брошена в ров, как букетик осенних цветов, – всхлипнула она пьяно.

– Се фуревур ломбат соудаин? – спросил я, глядя ей в глаза.

– Да брось ты! Молодость не вернешь, – улыбнулась она криво.

– Но за молодостью следует, – хотел было поддержать я неуютно начатый разговор, – и вторая молодость.

– Следуют очки для дали и близи, гастрит и потеря слуха. Ась? – из слезливости она легко перешла в агрессию и напористые правдивые умозаключения. – Думаешь, и на твоей улице будет пень тлеть?

Ответить на этот вопрос не представлялось возможности.

Мефодий с явным удовольствием потирал руки, а Пашка пришел в необычайное возбуждение, причину которого я понять никак не мог.

– Давайте будем веселиться, давайте будем пить! – засуетился Мефодий, извлекая из объемистой сумки бутылки с синеватым вином. – За Лялечку, за цветок в нашем лесу, за тебя художник и за тебя, придурок, – ласково приобнял Пашку Мефодий.

– Как ты хорошо сказала, про молодость,– мугыкнул Пашка, – брошена в ров...

– Это не я, это мой дружок, француз Гийом, случайно познакомились на вокзале.

– И на вашей улице будет пень тлеть! – объявил Мефодий, – что уж там!

Ляля завернулась в драпировку, но не от стыда, а скорей из кокетства и занялась столом, изредка подмигивая мне, намекая на пневматические страсти. Мефодий открывал бутылки, и пробки вылетали, словно это было шампанское.

Выпили. Ляля ходила со стаканом по мастерской, разглядывала полки, всякие мелочи, затем неожиданно стала сбрасывать с полок прочитанные книги в ящик.

– Паша, это все нужно отнести в скупку и сдать, – объявила она, принимаясь за картинки, эскизы, фотографии и прочую белиберду. – На помойку, хватит тщеславных попыток! Рукописи, никому не нужные теоретические разработки – в макулатуру!

Мефодий же ходил со стаканом и, отхлебывая из него, повествовал:

– Вечный лед мерцает в его груди. Этот лед – сознание онтологического зла, безутешной причинности мира, которую хотел бы он разрушить... – я краем уха слушал Мефодия и смотрел среди вещей, что можно было взять с собой. Всё оказывалось ненужным, а если нужным, то только на короткий период времени.

– ...и в это время вечный жар в его груди пытается растопить этот лед. Лед и жар! Это экзистенциональное состояние не может быть подменено ничем – ни любовью к Родине, к народу, к правде, к свободе, – ничем! Лед и жар!

Наконец, я нашел, что можно взять с собой, даже что нужно взять.

Это был забытый кусок то ли воска, то ли пластилина, то ли пластида, то ли детства и всей связанной с ним нелепицы и далекого щемящего чувства одиночества и неприкаянности.

– ...его *Я,* растворенное в чистом созерцании борьбы двух начал, чудовищно разрослось и ищет вечных отождествлений, отдохновений от самого себя, погружения в чистые воды беспредельной бескачественности...

– Но ведь умение беспредельно отдаваться своему *Я,* проявленному в этой борьбе двух начал, в движении, в круговороте их и есть счастье, – попытался я подытожить бесконечные рассуждения Мефодия.

– Да! Так предадимся же беспредельно незаинтересованному порыву духа! За счастье! – наконец поднял стакан Мефодий.

– Банзай! – поднял стакан уже пьяный Пашка Пропалов, кося дурным, мясным глазом на Лялю.

– Будьте здоровы! – стал я прощаться с присутствующими.

Пожал руку Мефодию, тот сморщился, как печеное яблоко.

– Подожди, я оденусь, – обрадовалась Ляля и прошла в обшарпанную ванную.

Я закрыл дверь на задвижку и придвинул к двери чугунный пресс для резки бумаги. Пашка сделал несколько попыток встать, но всякий раз падал, снова вставал и падал, но, наконец, нашел компромисс между желаемым и действительным и стал на четвереньки:

– Ты уже пошел? А Ляля?

– Она в ванной.

– Так ты куда? – от сотрясения воздуха собственным голосом, Пашка не удержался и упал прямо в груду бумаги.

– Может, в Париж, а может, в Жлобин, – хмыкнул я неопределенно.

– В Париж, в Париж! – прокричала Ляля из ванной. – В Жлобине я уже была, там и познакомилась с Гийомом, кстати.

– Откройте! Кто закрыл дверь? – прокричала Ляля. – Задвижку откройте, – налегала она на дверь мощным телом, привыкшим двигать мегатоннами страстей и вожделений.

Я стал на подоконник, чердаки и крыши города манили как в детстве.

Я спрыгнул на гулкую жесть и уже за спиной, далеко, слышал грохот ломаемой двери, крики о помощи, вой сирен, лай собак, свист пуль, чав-

канье снарядов, свист строп открываемого парашюта, и одновременно самые тончайшие звуки вплетались в палитру: шелестение крыльев, весенняя капель и звон придорожной былинки.

Я расхаживал по перрону в ожидании какого-нибудь поезда.

Кругом слонялся неприкаянный народец: бичи, цыгане, самовлюбленный кавказец вдохновенно прикидывал, как бы обменять партию унитазов на вагон цемента. Хромой и слепой гармонист выводил тоскливую мелодию, подпевая мощным, но сорванным голосом.

Он показался мне знакомым, я пригляделся к нему внимательней, вроде где-то видел его, но, окинув взглядом окружающий люд, я понял, что всех я когда-то видел и хорошо их знаю. Даже показалось, что за колоннами мелькнула фигура Мефодия, нет, просто мужик, похожий на него, надел тулуп на левую сторону, мехом наружу и пугал цыганят.

Я подошел к гармонисту, бросил ему мелочь, слепец подмигнул и рванул меха: милый мой, курлы-мурлы, взял меня за кагарлы, я ему говотарлы, пойдем со мной на хутарлы.

Голос гармониста мне тоже показался знакомым, и не только голос, но и манера исполнения, некоторые движения. Сбивало только то, что он был хром, слеп и кособок.

Тут подали поезд, и народец двинулся заселяться. Хромой слепец подхватился и довольно лихо, опережая других, заскочил внутрь.

Я прошелся вдоль состава и шагнул в приглянувшийся мне вагон.

Устроившись у окна раздрызганного общего вагона, я вглядывался в народ, куда кто едет, что ведет всех? Казалось, они озабочены одним и тем же, у всех, казалось, была одна цель поездки, но только туда, к цели, они намерены были доехать разными путями. Но доехать обязательно.

Неожиданно в вагоне снова появился гармонист, но, завидев меня, прервал свое глумливое пение и протащился по-быстрому, как краб, к тамбуру.

Я проследовал за ним, и, хотя он двигался по вагонам достаточно быстро, я настиг его в очередном тамбуре и схватил за грудки.

– Что-то мне твоя физия знакома, – сказал я ему напрямую.

– Первый раз вижу, – отвернулся он и скривил рожу.

– Гриня!– узнал я его.

Да, это был он, и он понял, что его узнали, и он заплакал, вытирая слезы грязными кулаками.

– Да, это я. Видишь, как всё обернулось, и это всё из-за нее! А было, было всё – гастроли, «Блоха», – всё было. Она всё, она!

– Кто, блоха?

– Какая блоха? Ляля! Всё было, как в сказке, но вдруг всё исчезло.

– Почему?

– Потому, что она исчезла, Ляля, и всё пошло прахом. Хоть увидеть ее, может, всё наладится, может, пойдет по-новому по-старому.

– Лучше бы тебе ее не видеть.

– Где она? Ты ее встречал? Ты был с ней?

– Нет, не встречал и не хочу. Куда ты сейчас?

– Куда глаза глядят, – ответил Гриня фальшиво, пряча глаза.

– Не темни, врать не научился, – сказал я напрямик.

– Вот-те крест! – перекрестился он левой рукой.

Я оставил его в покое, тем более, что поезд приближался к станции и в вагонах происходил шухер, контролеры отлавливали безбилетников, а поскольку у меня билета не было, да и куда его брать, то меня с толпой несчастных из вагона выставили.

Был выставлен и Гриня, но он запрыгнул в другой, откуда тоже был выставлен. Уже на ходу он запрыгнул в третий, но оттуда был просто выброшен по частям – сначала вылетела гармошка, затем саквояж, а потом уж и Гриня полетел в канаву вверх тормашками.

Поезд ушел. Гриня валялся в пыли и ныл. Я его встряхнул.

– Ох-хо! Теперь не успею, теперь точно не успею, никак...

– Под лежачего бомжа портвейн не течет, – привел я вполне весомый аргумент. – Успеешь... туда успеешь еще.

Гриня с надеждой уставился на меня:

– Ты меня не обманываешь? Просто успокаиваешь?

– Нужен ты мне, волоёб, еще с тобой возиться! Вставай и – пошли!

Гриня встал, взял гармошку, саквояж и, наконец, до него дошло:

– Так ты тоже туда? Нам по пути?

– Нам не по пути, но туда.

– Вот это здорово! Вот это хорошо! – переходы у Грини в настроениях и диапазон их был малопредсказуем.

Гриня развернул мехи гармошки и вдарил попутную:

– По деревне шла и пела баба здоровенная!..

И мы пошли по пыльной дороге, вдоль железнодорожного полотна, а по сторонам, в жухлом разнотравье, что только не валялось, вернее, сколько валялось всего потерянного, забытого, брошенного, ненужного – от колесных пар столыпинских еще вагонов, до танковых траков и обломков космического оборудования.

Без этого дорога была бы не дорога, и путь бы был не тот, и не было бы в нем ощущения таинственности и значимости движения по нему.

И везде, везде стояли вагоны, как распакованные чемоданы.

В них ютился народ: откинувшиеся из зоны, те же цыгане; стайка азиатов готовила плов прямо в вагоне; синие, похожие на афроамериканцев жители Поволжья – меря, чуваши, тунгусы , марийцы, вепсы и мордва.

– Торсом за угол задела, закричала, бедная! – подпел кто-то со стороны вагона. Какой-то сгорбленный, длинноволосый субъект улыбался, показывая полное отсутствие зубов.

– Не узнаёте? – прокашлялся он в нашу сторону. – Сашку не узнаёте, Шмуклера?..

– Сашка, что ты тут? – удивился Гриня.

– Да вот так, тут, пойдем ко мне, я уже не путевой обходчик, но у меня всё тот же вагон, хотя и многое изменилось в моей жизни. Многое, из-за Нее, будь она неладна...

– Из-за кого? – удивился я, хотя догадывался.

– А то ты не знаешь, – хмыкнул Шмуклер, – жизнь под откос пошла... Так вот! – он с трудом забрался в вагон, чувствовалось, что всё здесь ему привычно, всё на своих местах.

– Вот, только туфель Ее и остался, один, – показал он одинокую женскую туфлю на высоком каблуке.

– Для шампанского держишь. А где второй? – поинтересовался Гриня.

– Не знаю, этот вывалился... Наверное, уходила, торопилась... Вас подбросить? Как раз тут к Архангельскому подцепят, и враз будем на месте.

– Ты тоже?

– А то как? – Саша выглянул из вагона и погрозил кулаком кому-то. – Сцепщик, идиот плюгавый, подцепил меня на Джезказган. Вон он, кривоногий, в руках мухи сношаются.

Я выглянул. Кургузый мужичок в засаленной робе, лазил под вагонами, словно что-то вынюхивал. Я спрыгнул с подножки, подкрался к нему сзади, что-то в его фигуре показалось мне знакомым.

– Мефодий? – окликнул я его.

Мужичок резко вскинулся и треснулся головой об швеллер.

– О-о-о! – застонал он, прикрывая голову руками, но, тем не менее, незаметно поглядывая одним глазом на меня, явно не понимая, что от меня можно ожидать.

– Мефодий, что ты тут делаешь?

– Я не Мефодий, – дрожащим голосом и с ужасным акцентом сказал мужичок. – Я Гийом, при мне и паспорт имеется, – полез он под засаленный ватник, достал паспорт, издалека показал, – из пленных я, француз обрусевший.

– А-хрррр! – зарычал Гриня, увидев Гийома. – Это еще та сволочь! Вяжем его!

– Причиной агрессивности, – назидательно сказал сцепщик, – является биологическая зависимость человека от инстинкта, который известен у всех животных...

– Он, по-моему, назвал тебя скотиной, – догадался Шмуклер. – Поганый сцепщик, чуть к северному составу меня не подсоединил. Гони его, Григорий!

– Инстинкт сохранился и у человека в подсознании, – заверещал испуганный Гийом, – это научный факт, вот статья! – потряс он засаленным журналом «Наука и жизнь». Но такие аргументы на Гриню не действовали, он погнал пинками Гийома, приговаривая:

– Думал, я не видел тебя? Ты следил за нами, шастал в дом под видом сантехника, а то и ментом прикидывался. Думаешь я не догадывался, что с Лялей ты шашни крутил, поймать только не мог, застукать не получалось, сволочь!

– Вот так его, так, пинком еще под зад, таких в конюшню даже допускать нельзя!

Вскоре застучали по рельсам колеса, и мы понеслись мимо нахаловок, пакгаузов, а дальше замелькали платформы, полустанки.

– А что Жлобин? В Жлобине я был, не только в детстве, – задумчиво сказал Шмуклер, глядя на пейзаж, – ничего там особенного... Да уж, конечно, там рядом я и родился, рядом со Жлобиным, неподалеку. Уж кому скажи, сам я оттуда, и он, и ты, ничего особенного. Я потом еще сто раз был там по работе, со скуки сдохнуть можно. Разве что затмение...

– Откуда знаешь? – насторожился Гриня, – вспомнил что-то, давно забытое?

– Да все знают! Газеты читать нужно, следить за событиями, происходящими в мире, – тоном политинформатора заговорил Шмуклер, – вон в Америке знаешь, что происходит?

– Неурожай?

– Пальцем в небо. Перепроизводство: мясо, молоко, колбасу выбрасывают на помойку.

– Пиздишь ты, как Троцкий, как можно выбрасывать колбасу?

– Сжигают, иначе цены падают, уничтожают.

– И сало? – с сомнением в голосе спросил Гриня.

– Они его вообще не едят!

– Ха-ха, тут ты и попался! – обрадовался Гриня. – Сало не едят, ну дает! Это как же жить-то можно? Без сала?

– Другой народ! Не едят, как мусульмане, например, ни в какую.

– Ты татар имеешь ввиду?

– Ну и татар! А что?

– А Жиббаева помнишь?

– А то! Кто ж его забудет? Помню.

– А чем он закусывал, когда выпивал?

– Так это закусывал, другое дело! Думаю и американцы закусывают там огурцом, салом, ну, грибочек какой, а как же без этого? Это святое, хотя американцы ничего святого не признают.

– Докажи!

– Ты видел живого американца?

– Нет, только на картинке.

– То-то же, не спорь, а я видел и разговаривал с ним на зулу-языке.

– А почему зулу?

– Они все из Африки, а там преимущественно зулусы, кармажонки и лилипуты, а все вместе они – сефарды. Очень не любят русских за правду-матку, исходящую от них.

– То-то же! Правда жизни, от нее никуда! Хоть где! Я вот, в Африке было дело...

– Ты был в Африке? Не гони!

– В Мапуту, жил в отеле «Кардозо», – небрежно заметил Гриня, – как белый человек. Сейчас расскажу, если хочешь, всё равно ехать долго, время есть.

– Соврешь ведь, хотя какая разница? Мысль изреченная – всегда есть ложь.

И так, под разговорчики, под чаёк из Сашиного медного чайника времен первых пятилеток, понеслись дальше по России, даль, да две рельсы синие. Раздался стук в дверь вагона. Дверь задрожала.

– Ох, не могу, мужики, помогите! – донеслось оттуда.

Открыли дверь.

– Умру, не увижу, возьмите меня с собой! – гудел человек огромных размеров, прислонившись к вагону.

– Куда тебе? Куда спешишь-торопишься, что тебя приспичило?

– Затмение посмотреть, ооо! – запричитала гора.

– Пашка, ты что ль? – в огромном человеке с трудом угадывался Паша-тракторист, растолстевший до невозможности.

– Затмение хочу посмотреть. Возьмите, нам по пути!

– А тебе-то зачем? Ты и так толстый, – зло сказал Гриня.

– Я не толстый, у меня водянка, болею я... может, полегчает.

Мы втащили Пашку в вагон и огляделись: похоже, вагон снова отцепили от состава.

– Какой город, Саня? Когда прицепят?

– Не знаю, могут и через неделю, кто их знает, закон не писан.

– Пойдем, разберемся, что к чему, не сидеть же и ждать, – решительно сказал Гриня. – А то народ позвать и толкнуть, там дальше всё под горку, само пойдет!

– Бабка, что за город? – спросил Гриня задумчивую бабку с кошелкой.

Этот вопрос заставил ее глубоко задуматься. Наконец, она, разведя руками, сказала:

– Забыла, – повернулась и пошла в обратном направлении.

– Эй, пацан, что за город?

– Где? – оглянулся по сторонам пацан.

– Ты в каком городе живешь?

– Я приезжий, из Закавказья, разве это город? Помойка.

– А как называется?

– Вон написано, читай.

Все посмотрели туда, куда указал пацан. За площадью стояло здание железнодорожного вокзала, а на крыше здания светились неоновые буквы:

**НИБОЛЖ**

– Странно, такого города нет... – задумчиво вглядывался в буквы Гриня. – И не слышал даже.

– Какого нет? – спросил подошедший субъект с кривой улыбочкой на устах. – Сами вы откуда будете?

– Проездом, – деликатно сказал Шмуклер.

– То-то оно и видно! Так езжайте дальше, что остановились? Здесь толь-ко свои собираются на праздник.

– Это что, праздник города?

– Хуже, – хмыкнул субъект, – советую, пока не началось.

– А что, что пока? Угрожаешь? – напрягся Гриня.

Но тут вдруг в конце улицы появилась толпа бегущего народа.

Они выкрикивали какие-то слова, явно угрожающего содержания, некоторые из них были со штакетинами и оглоблями.

Дело принимало крутой оборот.

Они преследовали человека в подряснике или в чем-то похожем на черный балахон с капюшоном, который бежал, прихрамывая, и рот его был беззвучно открыт, а глаза его были полны ужаса.

Наконец, человек с разбегу перемахнул через ограду, а преследовавшие остановились перед препятствием, ужасаясь ловкости его.

– В создании ваших святынь – ваша слабость! – заговорил он, тяжело дыша и сплевывая.

– Утвердить Нечто – это словно вбить кол, присвоить ему священный ярлык и поклоняться ему. Да вам всё равно кому поклоняться, даже кол сгодится, благо он по веснянке может дать побеги, как всякое примитивное, сорное растение и вот уже для вас будут священные ростки, листики, наполненные многозначительными смыслами, намеками на откровения. Всё, всё для вас будет заменой истинного смысла бытия. Такие вы уж уродились, а иного вы кольями побьете, камнями закидаете, плюнете в лицо и на одежду его, потому как он думает не так, как вы, а вы и вовсе не думаете, этого у вас нет, нет, вы просто, как амёбы, реагируете на источник света. Он вас раздражает, он мешает вам спать и жрать, вот ваша истинная сущность, и кем бы вы ни притворялись, но всё одни и те же, удобрение! – при этих словах толпа разъяренно зарычала, некоторые пытались оглоблей достать оратора, но он ловко увертывался.

– И в веках, всенепременно вы всё те же, хоть накиньте на себе рубища суфиев, или увешайтесь веригами, или просто сладко пойте паршивые песенки про неземную жизнь. Ибо Он для вас – бородатый дедушка на облаке, окруженный белокрылыми младенцами, или же другой Он, которого вы боитесь даже нарисовать, или еще ипостась, и всё мимо, всё одно и то же, от страха и убожества своего сочиняете сказки и сами верите в них, потому как ничтожны и не можете глянуть на реальность вашу в вашем корыте.

Человек добежал до вагона, который неожиданно звякнул буферами, вскочил на подножку, с нее – на скоб-трап, и в мгновение ока оказался на крыше. Обвел глазами сбежавшуюся толпу:

– Ваш бог в ваших национальных зипунах, халатах и ватниках, с вашими добродетелями и даже с вашей серьгой в носу!

– Слезай, гад, слезай хулитель всего святаго! – орали внизу, размахивая дубьем.

– Как бы не так! – потешался над ними человек, да и человек ли, если он глумливо пустился в пляс прямо на крыше вагона, который еще лязгнул буферами и тронулся, поехал!

– Уходит, – заорали внизу, – переключай стрелку, буксы, где тормозные колодки? – но было поздно, вагон пошел.

Мы тоже запрыгнули в вагон, и хотя некоторые смельчаки пытались влезть с нами, чтобы продолжить теологическую дискуссию, мы от них легко избавились.

Тем не менее, происходило что-то невероятное.

Толпа следовала за нами и, по мере увеличения скорости вагона, следовала всё быстрей, пока просто не перешла на бег.

Так мы подкатили к родимым местам.

Узнать что-то здесь из прошлой жизни было практически невозможно, только линия горизонта, пожалуй, сохранила свои очертания.

Наш вагончик остановился в тупичке, вовремя, на ходу отцепленный опытным Сашкой, и можно было любоваться до посинения: слева, в непроглядной грязи, шевелился рабочий поселок городского типа, справа – поле с высокими травами, валяющимися лошадьми и вечными жаворонками под облаками. А в центре поля, среди разнотравья, стоял высокий дуб, развесистый, один у всех в глазах, в могучей красоте.

К дубу была привязана коза, похожая на козу бабки Шепотухи, при приближении оказавшаяся несвойственного для козы буйволиного роста – под стать дубу. Коза же попала к бабке так: цыгане украли в зоопарке маленького сарлыка (яка) и выдали его за козу. Сарлык воспитывался по-козьи, даже блеять начал, но естество из него поперло, и он перестал давать молоко к недовольству владелицы. Всё равно его выводили пастись в степь, хотя привязывали теперь к дубу, иначе он вырывался и стремился в соседний коровник для свершения кровосмесительной идеи.

Народ прибывал незаметно, как вода в наводнении, неуклонно и пугающе. Ходили, оглядывали достопримечательности: водонапорную башню, трактор ДТ-54, выброшенную прялку, битые горшки, серпы, косы, рубель для стирки льна, набитый конопляной трестой матрас, берцовую кость мамонта, часы-ходики с гирьками и разную прочую херню, забытую, но напоминающую о прошедших годах юности и тоски по вымышленным идеалам.

И снова рождалось ощущение, что вокруг слоняются давно забытые, но когда-то известные лица. Вон тот – директор телевизионного канала, уволенный за пьянку, а там – дворник-татарин, продававший по ночам водку, а там женщина, на которой был женат сосед, сгинувший с тринадцатой зарплатой пожарников, а там, в порванном кителе сам майор Стронский, командир роты морской пехоты, потерявший руку в Африке, но нашедший Мару, принцессу из племени Зулу, и так далее.

И известный политик, и торговый человек, сделавший деньги на продаже полония, – многие, многие собрались и каждый со своей историей, со своей жизнью, со своими радостями и страданиями. Даже явились те, которых все давно считали умершими или погибшими, пропавшими без вести, мелькали всё знакомые лица.

Началось всеобщее приготовление к событию неимоверной загадочности. Действительно, мало кто думает о том, что такое происходит, когда Земля погружается во тьму, как это маленькая луна закрывает большое светило? Тут сразу и возникают мысли вселенского масштаба, мысли, которые не приходят просто так, каждый день, да и хорошо, что это происходит, ну, например, как представить себе бесконечность? С ума сойти! Как это – бесконечность?

Человек, который хоть раз в год задумается, как это – бесконечность, всё остальное время может уже ничего не делать, не писать книжек, не рожать детей, не строить дом и не сажать деревья. Он может лежать себе на диване, например, или просто на траве, и ничего уже не делать, потому что он представил себе бесконечность! На секунду-другую он заглянул в та-кую бездну, что всё остальное уже – без преувеличения – кажется пузатой мелочью.

Так и залегли неподалеку от дуба Гриня, да Паша-тракторист, да Саша Шмуклер и многие другие. И многие иные поглядывали на солнце, бешено пылавшее сквозь розовое марево.

Некоторые стали разводить костры, коптить стеклышки, какой-то общественник притащил трибуну и установил громкоговорители, видимо речь решил сказать, но провода ему быстро перерезали, он, обиженный, хотел их соединить по-фронтовому, зажав в зубах, но по образованию был слаботочник, а там оказалось 220, и его сильно потрепало к вящему удовольствию аполитичного народа.

Группа лиц стала устанавливать палаточный городок, притащили полевую кухню, словно собирались жить здесь вечно или, как минимум зазимовать. Пошло какое-то смешение целей и задач – кто-то хотел установить сруб бани, но некоторые прямо призывали рыть траншеи, а то и бомбоубежище.

Подоспел Яшка – цыган на мотоцикле М-72 с карданной передачей и с сошками на люльке для станкового пулемета.

Прибыл и Вильман, в новой немецкой форме, но без знаков различия.

Форма сидела на нем, как влитая, выдавая в нем кадрового офицера, хотя все считали, что он – интернированный с Поволжья и не причастен к учению о расовых преимуществах, а тем более к всемирному национал-шаманизму имени Мирча Элиаде.

Вдруг, среди этой относительной тишины, ровного бытового гула, раздалось отчетливое щелканье метронома. Странное дело! Пока не защелкает какой-нибудь счетчик, хоть Гейгера, хоть таксиста или бомбы с часовым взрывателем, человек никак и ухом не поведет, не подумает вдруг,

что время уходит, вернее, мы уходим, не остановится, пораженный, не спросит себя, зачем и почему, а беспечно кукарекает и кукует, довольный мелкими радостями быта, а не крупными потрясениями бытия!

Щелканье метронома заставило всех сосредоточиться и вглядеться через закопченные стеклышки в небеса.

Там жарило бешеное солнце.

Вдруг в народе произошло какое-то странное движение, все забеспокоились, стали оглядываться по сторонам, словно разыскивая кого-то.

Даже так называемая коза, а на деле молодой сарлык, очень похожий на крупную козу, перестал щипать травку и стал внимательно рассматривать собравшихся и непонятно было, что отражалось в его глазах, имевших форму четырехугольника (мало кто обращал внимание, что глаза у козлиных имеют именно такую форму). Он осматривал их то ли с интересом травоядного животного, то ли еще с каким чувством, непонятным, но не совсем травоядным.

Неясное волнение совсем овладело собравшимися, отовсюду раздавались недоуменные реплики, все продолжали спрашивать кого-то, и никто его, оказывается, не видел.

Тут щелканье метронома прекратилось, и установилась полная тишина. Самое удивительное, что воробьи перестали чирикать, а раздался только одинокий голос вороны: карррр!

Ей ответили соплеменники и, словно по команде, они взметнулись к небесам и заметались, словно кто-то махал там черным знаменем.

Вдруг самый краешек солнца стал чернеть, словно обгорал кусок бумаги. Завыли собаки. Заметался на привязи сарлык.

Всё кругом приобретало зловещий оттенок.

Чернота наезжала на солнце зловеще и неумолимо.

Какая-то женщина в толпе дико закричала и упала в обморок. Ее окружили, попытались сделать искусственное дыхание, но она лежала синяя и бесчувственная, и ее на руках вынесли из толпы.

Вслед за ней упало в обморок еще несколько женщин и один слабонервный мужчина, женщин тоже вынесли, а мужчину оставили лежать так, только оградив его колышками, чтобы не затоптали.

И вот наступил момент, когда солнце полностью стало черным.

Снова установилась тишина, лишь были слышны легкие вскрики и звуки падающих тел, но никто уже не обращал на них внимания – все смотрели только туда, на черное солнце.

Этот момент трудно забыть. Казалось, всё длилось несколько часов или даже несколько суток.

Казалось, что в это время не росла трава, что у всех застыла кровь в жилах, не дул ветер, всё оцепенело, а то и стали исчезать не только звуки, но и сами слова – антонимы самоуничтожались, синонимы больше не объясняли друг друга, Инь слилось с Янь, левое с правым, и даже добро со злом прекратили свой вечный антагонизм.

Но в то же время понемногу открывалось зазеркальное бытие слов, страшное в своем существовании, так как дальше всё казалось голым, очищенным от различных привычных связей, блистательным в своей обнаженности и наполненности, первозданным смыслом.

Первым понял это молодой и горячий сарлык. Он так рванулся с привязи, что цепь, на которой держали его, со звоном разорвалась, и сарлык, с обрывком привязи, задрав хвост, словно бычок, стал носиться вокруг толпы, так и норовя кого-нибудь поддеть на рога.

Понемногу в правой верхней части темного круга появились, и стали удлиняться лучи и вскоре возник маленький, с ноготок, кусочек солнца.

По толпе прошел тихий гул и шорох, словно ссыпался диллювий со склона горы. Всё это чуть напоминало последствие небольшого землетрясения. И когда кусочек солнца стал увеличиваться, незаметно, но непреклонно, толпа, наконец, облегченно вздохнула, послышались радостные восклицания, смех, счастливые всхлипывания. Все стали переглядываться, словно ища друг в друге взаимопонимания.

Я тоже всматривался в лица людей, а многие тоже смотрели на меня с явным интересом, словно ожидали от меня какого-то значительного поступка или выступления, словно я был какой-то заезжий гастролер.

Я уж совсем было поддался магии толпы, ее энергии призыва и чуть было не свершил что-то, мне не свойственное, впрочем, может быть, именно мне и свойственное, ведь не зря на меня с надеждой смотрело столько людей, среди них было много детей, красивых женщин и даже стариков, видевших многое в своей жизни.

Но тут случилось непредвиденное обстоятельство: сорвавшийся с цепи сарлык не выдержал пьянящего чувства свободы, возможности полного проявления своей сущности и стал поднимать на рога первых попавшихся, опьяненных радостью зрителей.

Поднялся переполох, люди бросились врассыпную, кто куда, куда глаза глядят, так как сарлык представлял из себя вполне ужасающее зрелище. Казалось, из ноздрей его не пар выходит, а огонь, словно там, в ноздрях его, включились две автогенные горелки, а рога его, освещенные пронзительными лучами белого солнца, казались раскаленными в кузнечном горне.

Зрелище было не для слабонервных, и поле опустело.

Народ словно исчез совсем.

Я не стал дожидаться, чем всё это кончится, и, еще имея в себе заряд бодрости от всего произошедшего, двинулся восвояси, то есть, на самом деле, к трассе, по которой мчались автомобили в сторону аэропорта.

Существование его угадывалось по немногочисленным, но заметным заходам на посадку пассажирских лайнеров.

Самолет набрал высоту, ровное гудение его успокоило слабонервных, любопытные как рыбы в аквариуме плющили губы и носы об иллюминатор, пытаясь рассмотреть что-то там, в облаках.

Я занял свободное кресло в самом конце и у меня был только один сосед в кресле через проход, отставник, который уже изрядно нахрюкался для безопасности личного полета.

Милый покой комфортного полета легко навевал воспоминания, а то и беспокойные сны. Отставник прижимал к груди термос с коньяком, как автомат, чтобы при десантировании не выбить зубы. Иногда он вздрагивал и по привычке шарил рукой по левой стороне груди, проверяя наличие высотомера, но, не найдя его, просыпался тревожно, и увидев меня и гражданского вида пассажиров, снова проваливался в свою дрему, в ароматные коньячные рощи.

Иногда я ловил на себе взгляд человека в сером костюме, он поворачивался, смотрел куда-то в сторону, но боковым зрением цеплял меня, и это меня озадачивало, так как мое умение уходить от наружки здесь применить было невозможно.

Конечно же, я притворился дремлющим. Какой еще фокус можно придумать, когда самолет ползет на свои законные десять тысяч метров и единственно, куда ты можешь отлучиться, это в туалет и посмотреть на себя в зеркало без особого воодушевления, потому что оттуда на тебя глянет не совсем приятный тип, с возвышенной бледностью на щеках от близости небес, на всякий случай приготовившийся к смерти в авиакатастрофе.

Изгнать из глаз тревогу, потереть щеки до красноты и, выйдя, непременно столкнуться с тем, в сером костюме, который еще раз уступил очередь даме с камелиями и поджидает тебя, чтобы зацепить на пустяшный разговор.

Из-за занавески выкатила тележку бортпроводница, предлагая лимонад и минеральную воду, и только тут я обратил на нее внимание. Та, которая объявляла о полете, была очень похожа, но эта была иная, хотя форма и унифицировала их.

Это меня поразило. Это была Ляля!

Не та, которую приволок Мефодий, которая хохотала и ругалась матом, а другая, настоящая, с тех еще времен, когда я просыпался у себя на чердаке, смотрел на мир, который был для меня набором известных мне примет и вещей, состоящих из поленницы березовых дров, чуть кривой водокачки, рельсовой пары, так и не построенной железной дороги, зарывшейся в траву, копотящегося трактора, бряканья пустых ведер, крика петуха, блеянья козы на привязи, впоследствии неимоверно выросшей и одинокого дубка, крепко вцепившегося в сочный чернозем.

– Минеральная вода? Лимонад? – проходила она мимо пассажиров, раздавая стаканчики с напитком.

Каждый раз, отдав стаканчик, она мельком взглядывала на меня.

Наконец она подошла совсем близко, отставник с соседнего кресла отказался, весело тряхнув термосом:

– До Парижа хватит!

– Вы летите в Париж?

– А то! – хохотнул отставник. – Нам там всегда рады!

– Вы там уже были?

– На танке! – веселился отставник.

Она резко переключилась на меня, подняла синие глаза и в упор посмотрела, а я помнил эти глаза, они отличались тем, что из синих становились темно-синими, а затем, если ее удивить, – антрацитово-черными.

– Се фуревур ломбат соудаин, – сказал я фразу, запомнившуюся мне с детства.

– Что вы сказали? – переспросила она, и ее глаза потемнели.

– Вы хотите в Париж? – весело спросил я.

– Вы предлагаете вместе?

– Именно так! – подтвердил я ее догадку.

Глаза Ляли стали совсем бледно-голубыми, и она стала походить на обычную девочку-немку, холодную и пунктуальную.

– Я подумаю. Вряд ли вы на это способны, у вас не героическое лицо, – хмыкнула иронично она, довольная своей смелой колкостью, и пошла, конечно, понимая, что я смотрю ей вслед. Ее остановил человек в сером, что-то стал спрашивать. Она смеялась и посматривала на меня. Я достал то, что мне было крайне необходимо в данную минуту.

Я достал свой пластилин – мягкий материал для лепки всего, чего угодно, и стал его сосредоточенно разминать.

Она несколько раз выглядывала из-за занавески, которой были отделены бортпроводники от пассажиров, несколько раз выходила по вызову

серого человека, потом пассажирки, на которую стошнило соседом, весело переговаривалась с напарницей и ни разу не глянула в мою сторону.

Я стал лепить, не торопясь, вспоминая детали, последовательно, как при сборке: ствол, рамка, стойка, цапфы, антабка, затворная задержка, перемычка, винт для щёчек, прилив, стопор, выбрасыватель, фиксатор, – всё помнил и мог собрать с закрытыми глазами.

Сосед посматривал на мою неспешную работу заинтересованным глазом. Пришлось детали прикрыть, и он зевнул недовольно.

Наконец дело было сделано, и я собрал разрозненные части воедино, накрыл салфеткой и нажал кнопку вызова стюардессы.

Она появилась из-за шторки, и с официальным лицом направилась ко мне, наклонилась и спросила с ложным участием:

– Вам плохо? Воды? Лимонада?

– Нет, мне хорошо! Передайте экипажу мое требование – изменить курс и совершить посадку в аэропорту имени Шарля де Голля.

– Вы опасно шутите!

– Я не шучу, милая! – и я приподнял салфетку. На столике лежал «Стечкин», тяжело отсвечивая вороненой сталью.

– Зачем вы это делаете?

– Для тебя!

– Ты же не знаешь даже, как меня зовут.

– Знаю.

– Хорошо, я передам экипажу.

Она снова ушла.

Человек в сером, непростой человек, опасный человек, словно незримо присутствовал при нашем разговоре, он вжался в кресло и старался меньше привлекать к себе внимания.

Сосед, отставник, сквозь коньячные пары пытался рассмотреть меня, щурился, пытался сфокусировать на мне свой взгляд.

Шваркнул микрофон громкой связи и из динамиков послышался веселый женский голос, сообщивший, что по непредвиденным обстоятельствам наш самолет меняет курс, и через полчаса начнется посадка в парижском аэропорту имени Шарля де Голля.

Пассажиры недоуменно крутили головами, смотрели в иллюминаторы, переговаривались. Некоторые пытались встать и пройти в тамбур бортпроводников, но мужской голос, жесткий и командный, предупредил о том, что покидать свои места не следует в целях личной безопасности.

Она же вышла из-за занавески и, успокаивающе улыбаясь, пошла по проходу.

Пассажиры повернули к ней встревоженные лица, а серый даже попытался схватить ее за руку, но она направилась прямо ко мне, подошла, стала в проходе, положив руки на спинки кресел, на некоторое время загородив собой обзор.

Я встал и вовремя: серый, уже без пиджака, но в легком бронежилете и с каким-то предметом в руке, двигался ко мне по проходу.

Я обхватил ее, прижал к себе и направил пистолет на серого:

– Стреляю на счет три! Раз!

Серый остановился, словно ища поддержки у пассажиров.

– Ложись! – посоветовал отставник. – Ложись и не двигайся, – он был совершенно трезвым и в его руках вместо термоса оказался АКМ с пистолетной ручкой.

– Всем сидеть на местах и соблюдать спокойствие! – добавил он командирским голосом.

– Так ты не один? – спросила она, положив мне голову на плечо.

– Я с тобой, – ответил я, обнимая ее и держа на прицеле кабину пилотов.

– Разворот на посадку выполнен! – доложили по громкой связи из кабины.

– Продолжай в том же духе, командир, – весело ответил отставник, – раздай парашюты пассажирам.

Среди пассажиров произошло волнение, послышались стоны и крики: я боюсь высоты! а вещи брать с собой?

Из кабины пилотов послышался веселый смех:

– С земли передали – вас там ждут.

– Передай: автомобиль с полным баком к трапу, шампанского и устриц в багажник.

– Будет вам шампанское, будут и устрицы! – захохотал командир. – Может, маслин заказать?

– Маслин, маслин! – посоветовал кто-то из пассажиров.

– Попробуйте вино! А я бы лягушачьих лапок заказал! – раздались голоса.

– Пристегните ремни! Заходим на посадку, – уверенно объявил женский голос.

Вскоре самолет остановил свое движение. Замолчали мощные турбины. Установилась тишина. К открывшейся двери подали трап, и пассажиры стали выходить в чистое поле.

Казалось, вокруг никого нет, но стоило кому-нибудь ступить на траву, как он сразу же исчезал.

Энергичный кавказец бросился было за куст олеандра со своей белокурой подружкой, как тут же исчез, хоть и появился вновь через минуту, но уже в одних полосатых трусах и бандаже на волосатом, как репа, брюхе. Появился и бросился обратно в самолет.

– Там шмонают! – дико заорал он. – Всё отобрали! Часы, бумажник! Всё, я нищий!

– Автомобиль у трапа, – объявил командир, – можно садиться.

Отставник со знанием дела сделал из мужика в сером прикрытие, как умеют делать только опытные спецназеры: продеть автомат через руки за спиной, стянув ремнем, продев его через ствол и закрепив на лбу.

Так и повел отставник его боком через проход и к трапу, прикрываясь от невидимых снайперов.

Меня же прикрыла она, заставив обнять ее за шею и приложив ствол к пылающей щеке. Вместе пошли мы по трапу.

Оставшиеся пассажиры, кто со страхом, кто с сочувствием, смотрели на нас. Водитель вышел из машины, оставив дверцу открытой, и ждал приказаний.

Удивительно, но в небе кувыркались жаворонки, дул жаркий ветерок с поля в цветах, а под ногами лежал белый снежок, словно тополиный пух.

– Уходи, я прикрою, – прошептал отставник, – только быстро! Через поле, там – граница!

– Бежим! – крикнула она и побежала в поле.

Я рванулся за ней.

И вдруг она споткнулась и стала медленно падать.

Я подхватил ее и сделал всего несколько шагов, как меня словно тяжелой палкой ударили по спине с левой стороны. Больно не было, но удар был такой силы, что я упал на колени, прижимая ее к себе.

Жаром обдало все тело, я зачерпнул холодного снега, но это и правда оказался тополиный пух, и рука моя стала вязнуть в нем.

Я оглянулся, чтобы увидеть, кто нанес мне удар, и увидел смеющегося Мефодия. Он стоял на краю поля и занимался совсем глупым делом – собрав созревшие одуванчики, он дул на них в нашу сторону.

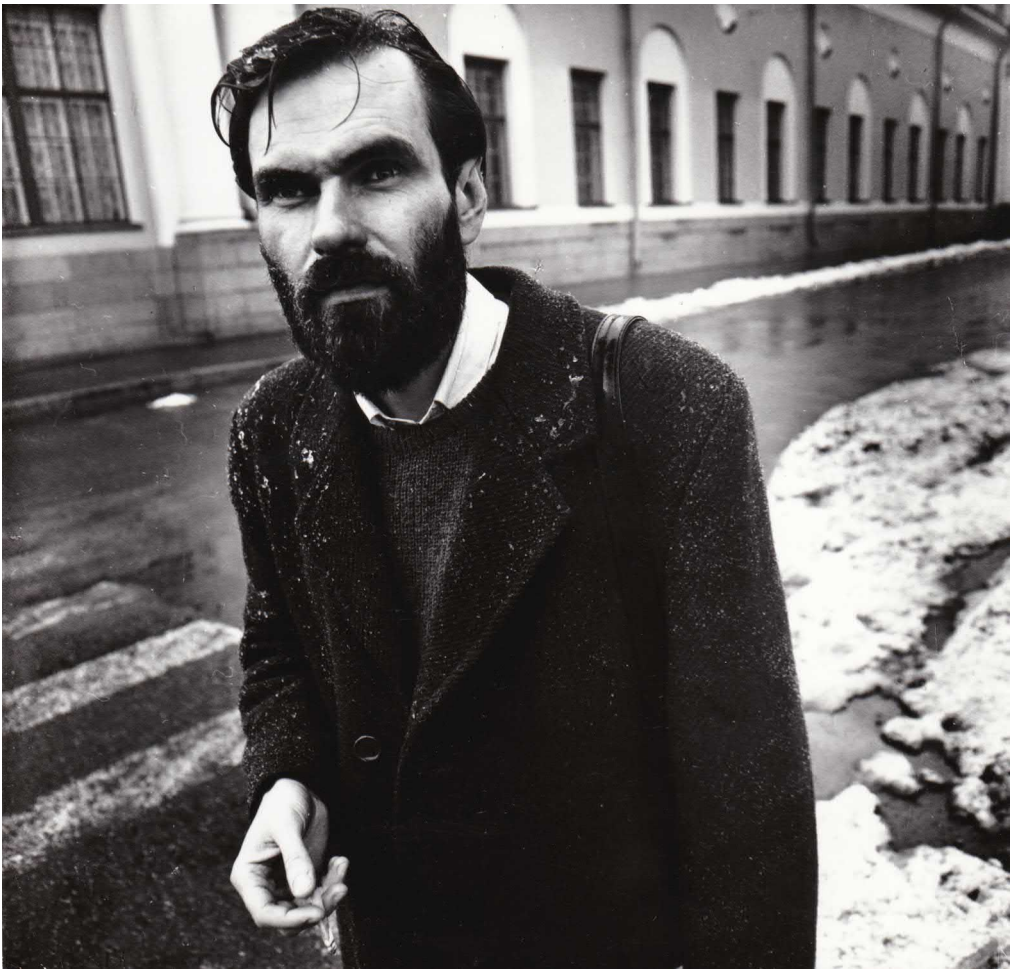
Я поднял ее удивленное лицо с темными, как ночь, глазами и показал на Мефодия. Она улыбнулась, глаза ее становились темно-синими, а потом стали бледно-голубыми.

От ветра поднялась настоящая метель, и всё вокруг обращалось белым, заметало всё – и траву, и цветы.

Заметало и нас, и вскоре мы погрузились в белое безмолвие.

*1995, 2016 гг.*

# C T B – 25



© Павел Васильев

Сергей Сельянов.

Фотография Павла Васильева.

Мне не хотелось бы говорить о Серёже Сельянове (С. С.), как о первопричине всего сущего в СТВ, и я постараюсь обойтись, насколько это возможно, без главного человека в этой истории, вспомнив пословицу о свите и короле. Тем более, кино – это настолько общее дело, что я смело уподоблю любой кинематографический организм экипажу корабля (я мог бы сравнить с оркестром и дирижером, но первое сравнение мне ближе).

Я узнал по-настоящему, что такое кино курсе на втором, когда меня пригласили в Тулу на фестиваль любительского кино. Я-то в обычном кино был профан, а то, что существует всесоюзная сеть киноклубов, где сотни людей, молодых и не очень, живут этим, тратят деньги и время на съемки маленьких и никому не нужных фильмов, я и не догадывался.

Не знал и то, что оттуда выходят будущие операторы, режиссеры, сценаристы. Да и мало кто знал об этом. Впрочем, всё это исчезло с появлением пикселей: пиксели не горят, а носители тех времен не только горели, но и даже, с применением иных триацетатных основ, сохли, скукоживались, как шагреневая кожа, и пропадали навсегда.

А на что снимали? И как снимали? Это теперь не понять, но тогда это могли делать только фанаты и не просто фанаты, а специально обученные, причем которые сами себя и обучали. Трудно представить камеру «Красногорск» (16 мм), в которой постоянно «салатит» пленку, а если удалось прилично отснять что-то, то это можно было понять, только проявив, намотав на огромный барабан в темноте и высушив, а после разлядывать без звука странные фигурки, возникающие то с ЗТМ, то из нерезкости. Затем эти кусочки обрезали на «прессике» и склеивали ацетоном, вдыхая бодрящие пары. Дальше доснимали недостающее, переснимали неудачное, и в результате получался фильмец минут на 3–5, а иногда и все десять(!).

Вот фестиваль такого кино я и посетил, и отсмотрел там десятки фильмов разного рода, всё больше комических (порой непроизвольно), и остался в некотором недоумении, потому как это было очень похоже на ЛИТО (литобъединение) со своими графоманами, но трудоемкое и требующее денег развлечение. Но вскоре мое чванливо-снобское состояние вгиковского гостя было нарушено, нет, просто разрушено напрочь и навсегда.

Состоялась премьера полнометражного(!) художественного(!) фильма «Любовь и съемочная группа» (16 мм). Со звуком (не звуковая дорожка), с интер- и субтитрами, с параллельным действием на двух экранах со слайдами и, вдобавок – самый раскапец, – в самую ответственную минуту (по действию), когда герой попадает в ванную комнату, где млеет красотка, в зал полетели мочалки(!), приглашающие к соучастию.

Зал ревел! Это был культурный шок, это был супер-кинематограф!

Это было новое «Прибытие поезда»!

Это было в Туле, под Тулой вернее, в каком-то санатории. Среди приглашенных были тогда еще никому не известные «метафористы» Саша Ерёменко, Иван Жданов, Алёша Парщиков, с ними Оля Свиблова, ныне директор Дома фотографии, и многие теперь известные художники и писатели.

Почти все работали дворниками и кочегарами, но писали стихи, рисовали картины, короче, собралась лимита безродная, такая же, как и «кинолюбители», снимавшие свои фильмы и сами показывавшие их на развернутых простынях самим себе и своим товарищам.

Это был «Дикий Восток» русской культуры – под словом «русской» я имею в виду то, что имел в виду автор песенки: «В нашем батальоне все равны: русские, татары и хохлы… ».

Студия, которая произвела этот... фужер? фураж? нет, фурор, называлась «Сад», и в том саду бродили в большинстве своем студенты Тульского политеха, суровые знатоки сопромата, дружившие со съемочной техникой кинолюбители. Выше всех был С. С. – и длиннее, и являлся организатором всего этого буйного действа. А главным он был не потому, что был наиболее активен – еще в футбольной команде 88-го детсада звали его «Бест» («лучший»), – а потому, что он всегда знал больше и умел лучше.

Тот фильм – «Любовь и съемочная группа» – я до сих пор считаю одним из лучших российских комедийных фильмов. Там снимались все и делали настоящие чудеса, было смешно и остроумно.

Я не знаю, что двигало этих ребят, почему они сутками торчали в ДК, где находилась Народная киностудия, состоявшая из нескольких помещений, почему они ночевали и дневали там, объединенные одним – запахом ацетона, которым они склеивали пленку, и цветом лица, зеленовато-серым, от ночных бдений в проявочной комнате и пристрастием к «777», напитку теперь забытому и заслуженно, будь он неладен.

Все это было несколько похоже на другой коллективный психоз, музыкальный, с которым я познакомился через Ю. Шевчука. Там тоже беспокойные парни паяли, лудили, таскались с проводами, усилками и самопальными инструментами. Они играли «русский рок», «русскую рок-музыку», ну а в Туле, следовательно, созревало «русское рок-кино»(?).

Но если русские группы переиначивали и прививали «Битлов» и др. на родной земле, то кинолюбители либо черпали всё из достижений дореволюционного русского кино, либо же всё изобретали сами, всю свою эстетику, имея только вектор, подобный новым музыкальным исканиям или же поэтическим изыскам «метафористов».

Круче Тулы не было никого, но были интересные кинематографические протуберанцы в Прибалтике, которая являлась в образе некоего Артураса и К° с гениальными короткометражками, полными абсурда, западного аромата, юмора и вольностей. Прибалты покоряли всех европейским лоском и европейским же хулиганством, добродушным отвязным пьянством, русской водкой и – под закусь – жареными на костре лягушками.

И всё было до боли знакомо, естественно и взаимосвязано. Тут же существовали художники, рисующие классно, но по-другому, умеющие рисовать «как нужно», но не желающие этого делать. Еще поэты, пишущие, как им думалось и чувствовалось. В те времена былинные можно было сидеть в компании сверстников, пустив по кругу совсем дешевый напиток («..и ветерок отравленный глотали мы из горлышка») и слушать стихи.

Читали по очереди, а если стихи были Бродского, то могли и в несколько голосов, как мантру, как общую молитву, но без унылого звероподобия.

Всё это было Андерграунд, но никого не беспокоило, как это называется, все были очень начитанными парнями и девушками. Знали и читали всё, несмотря на то, что Цветаева и Мандельштам издавались в ограниченном количестве, а за Набокова и Солженицына могли посадить. Эмигрантскую литературу, статьи по искусству, поэзию – всё, что представляло какой-либо интерес для удивительно голодных молодых людей. Это была страна не только самых читающих людей, это была страна, читающая всё самое сто́ящее, что издавалось в мире, но было запрещено в ней, в самой стране.

Все мы были опасно образованными и хотя категорически не смыкались с разрешенной, официальной культурой, умудрялись не только с ней как то сосуществовать, но и благополучно поступать в лучшие ВУЗы страны и не менее успешно в них учиться. Там преподавали такие же, как мы, но только старше по возрасту, не знаю, как назвать, но «инакомыслящие» – это не к нам, мы «нако мыслили», и нам было наплевать, какую линию партии сейчас исповедуют в стране.

Мы любили и знали свое дело, но профессионально применить наши умения было проблематично, поскольку, как и в науке, и в производстве, везде наблюдались стагнация и неприятие, нет, не нового, а всего, что могло как-то сбить, нарушить, избавить от «синдрома ровной дороги».

Некоторые же, покопавшись в своей родословной, нашли блох и, подковав их, смело поцокали за рубежи Родины, ну и сгинули там, не выдержав гастрономического обилия, а там нужно уметь быть сдержанным в жратве.

Есть анекдот: бороду-то сбрить можно, но мозги куда деть?

Потому и возникла идея сделать настоящий, полнометражный, художественный, 35 мм фильм, как говорится, по-взрослому, но подпольно, поскольку на профессиональную студию никогда! никто! не был бы допущен и близко.

Идея возникла в тульском «Саде» у С. С., похожего тогда на молодого протопопа Аввакума, и примкнувших к нему деликатного Коли Макарова, тишайшего Гарика Минаева и многих других славных ребят с золотыми руками и светлыми головами.

Следует сказать, что в те времена нещадно привлекали, а то и сажали за самиздат, за тамиздат, за перепечатанные стихи, прозу, за скопированные западные издания – всё это подпадало под ст. 190-1 («распространение заведомо ложных измышлений»). И всё, что не проходило «литование» или «литовку», то есть цензуру, подпадало под эту статью автоматом.

Так велел указ, подписанный неким А. Хахаловым (?), который вряд ли дожил до этих времен, но его потомки до сих пор «хаха-кают». Не могут они, эти генетические халдеи, быть нормальными, честными работниками, музыкантами, например, или овощеводами, они обязательно где-нибудь при «ха-ха». Это нация такая, искусственно выведенная, как собачки «чау-чау» для услады глаз больших начальников.

А что касается «изготовления фильма подпольным образом» – тут мыслители не одну статью придумали – на этом месте вырос целый букет статей, включая и «растрату» и какое-нибудь «злоупотребление и незаконное использование». Будь я хахаловым, придумал бы непременно для таких «садоводов» в лице «С. С. и сотоварищей» ст. 00.01: «незаконное использование всего», – особенно таланта и мозгов, но не сложилось.

В качестве литературной основы, полигона для испытания творческих амбиций и профессиональных навыков был выбран мой «День Ангела», который я дал почитать С. С., моему однокурснику.

Этот кинорассказ был написан прямо на I курсе, когда я озверел от «Теории кинодраматургии» и от анализа фильмов с точки зрения этой теории. Как всякий стихийный материалист и анархист, я понял: нет, и не может быть никакой теории кинодраматургии! Есть только факт произведения искусства, а все теории – просто повод немедленно выпить.

Мое участие в этом «безнадежном предприятии» было минимальным, так как месяц за месяцем, из года в год названных выше сотоварищей можно было застать за одним и тем же делом: через проектор, который держали на коленях, пропускался кусок пленки, дальше не менее часа шло обсуждение, затем наступал консенсус, вослед пропускался еще кусочек, потом всё это вставлялось в прессик, обрезалось, склеивалось и завершалось ударом кулака. Раздавался стук, как по крышке гроба, вздра-

гивали присутствующие, и их бледные лица светлели: их пастыри вели их всех по пути Правды прямо к Истине.

Это зрелище угнетало меня и убеждало, что кинематограф принадлежит исключительно таким красавцам, как Михалковы, а мы все – выродки, самонадеянные и наглые бастарды. А то, что нас заметут, сомнений не было, волей-неволей доносились слухи о неприятностях такого рода.

И поделом нам всем! На самом деле, ни хрена мы не боялись и запугать нас даже простым финским ножом было трудно. О деятельности «С. С. сотоварищи» знали десятки человек, а уж догадывались и поболее того! Но никто ни разу не заложил!

Вот это уже было фактом поразительным! Кто не жил в то время, в той обстановке, поиронизирует, но то ли КГБ совсем нюх уже потеряло, то ли подпольное кино было явлением совсем неожиданным (как копать тоннель в Париж в своем огороде – не докопаешься!), но, кажется, никого так и не вызвали. Шевчука вот вызывали раз в неделю, и он писал по листу пояснений на каждую строчку своих песен, что конкретно он имел в виду. Но это было в Уфе, а у нас Тула-Москва – круче Нью-Васюков.

Юра скакал в полосатых штанах и выл, что он «церковь без креста», а остальные – «мальчики-мажоры», а в «Дне Ангела» шел суровый разговор про смысл жизни и про грядущий государственный переворот, и отрабатывалась тактика и стратегия его подготовки: вбрасывание фальшивых денег, привлечение силовых структур, одним словом, тщательно, со знанием дела, как в теории, так и на практике.

Не заложили! И слава Небесному Диспетчеру – отвел десницу карающих органов, усыпил бдительность Хахалова, притупил внимание капитана Архипова (не того, другого), вовремя опохмелил Мурыкина, сдвинул-передвинул шашки-пешки, смешал игру, и мы, счастливые и свободные, гуляем себе по светлым улицам и зеленым лужкам и иногда делаем кино, кто какое.

Я лично – совсем безнадежное: с трудом можно попасть на честного человека, чтобы высидел в зале.

Другим везет больше – они нашли общий язык с соседями по коммунальнику, и у них порой бывает огромная зрительская аудитория.

В этом смысле и поражает меня СТВ – со-товарищество, которое выросло из маааленькой, нищей, студенческой студии в огромную, влиятельную структуру, концерн, империю, при этом за совсем немного колов времени! И с этим подразделением (а как иначе?) работают интереснейшие люди. Да и люди ли они? Что они делают?

Не знаю, для меня до сих пор остается загадкой, как делается кино.

*2015-16*

© Денис Щигловский

Марина Левтова и Валерий Приёмыхов
на съемках фильма «Время печали еще не пришло».

# «Через 20 лет. В 2015 годе» ( Послесловие )

Пересматривая фильм Сергея Сельянова и Михаила Коновальчука «Время печали еще не пришло» через 20 лет после того, как он вышел на экран, и как раз в том году, когда, как пунктуально указано в повести, происходит солнечное затмение, которым начинается эра Водолея, зритель поражается богатством его визуального и повествовательного воображения, иногда комического, часто лирического, изредка иронического, а время от времени волнующего и пробуждающего беспокойство: к нашему счастью, брутальное «обрезание аль фреско», исполняемое посредством топора, происходит за кадром.

Именно ретроспективный взгляд на прошлое 20-летней давности выступает узловым элементом самого фильма, структурирующим повествование и позволяющим погрузиться в самую глубину советской эпохи. История страны, которой больше нет, во всех ее искривлениях и гримасах, и прежде всего, ее ретроспективная оценка, – вообще оказались если не основной, то, по крайней мере, магистральной темой кинематографа периода перестройки.

Режиссеры изобретали сложные нарративные механизмы, чтобы отправить своих персонажей из современности конца 1980-х – начала 1990-х годов в глубокое советское прошлое. Герои и «Зеркала для героя» (1987) Владимира Хотиненко и «Бумажных глаз Пришвина» (1989) Валерия Огородникова магически переносятся со съемочных площадок, детально реконструирующих 1949 год, в самую гущу событий тех лет. Зрителю дается понять, что только так, путем прямой причастности к происходящему как раз тогда, в 1949-м году, и возможно распознать природу сталинского времени и осознать это наследие.

А еще почти 20 лет спустя после выхода «Времени печали» представители другого поколения Александр Войтинский и Дмитрий Киселев в своем фильме «Черная молния» (2010) используют еще один утопически-технологический механизм, чтобы вернуть протагониста в прошлое: он въезжает в годы «оттепели» на летающей «Волге» (ГАЗ-21).

В фильме «Время печали еще не пришло» авторами двигала, однако, не потребность рефлексии над прошлым, свойственная многим режиссерам конца 1980-х, да и ревизионная псевдонаучность современного российского кино их также оставила бы равнодушными.

К съемкам фильма они подходят с киноинструментарием, отточенным на картине «Духов день» (1990), но разрабатывавшемся уже в их дебюте «День Ангела» (1980, 1988). Тогда же о режиссерском подходе Сельянова, скрупулезно реализующем сюрреалистическое воображение и сновидческую драматургию Коновальчука, точнее всех критиков написал другой кинорежиссер, Александр Сокуров:

> Давно не встречалось в жизни моей такого уникального, своенравного таланта, как у автора этого фильма. Всё в его работе не так, как у других: драма, слезы, смех, ирония, конструктивизм. Он талантлив и медлителен, как стекло тягуч, он плывет и, подобно жидкости, обтекает пространственные препятствия. Он – себе на уме. Он осмысляет фальшивость русской свободы, примитивизм и величие российской судьбы, смеется над сухими, выпученными кинематографическими проблемами, как фокусник и как философ манипулирует своим серо-черным изображением, нисколько не заботясь о необходимости хотя бы малой толикой вписаться в обыденное сознание. Его драматургия, рожденная жизнью и воображением его друга и соавтора, – часть его самого, это то, что никогда его не покидает. Он – молодой русский, который явственно сохраняет в себе генетические национальные узлы, существуя в профессиональной лицемерной среде.
>
> Его фильм – почти буквальное отображение жизни народа, разъехавшегося на свое печальное житье-бытье по громадному и неухоженному российскому пространству. Эта жизнь рождает грустных подростков, задумчивых юношей, слабых мужчин. Его фильм подобен сну, который после пробуждения помнится в мельчайших деталях и который страшит возможностью возвратиться завтрашней ночью с новыми жестоко правдивыми подробностями прожитого.
>
> Он – не ласков. Ему меня не жалко. Это обидно, но у него своя дорога, и пойдет по ней он медленно, почти лениво, и никто ему не будет нужен. Он – необыкновенно талантлив. Имя его – Сельянов Сергей.
>
> (*Советский фильм*. № 6/1989)

Подход Сельянова-Коновальчука к реконструкции времени и оказывается, соответственно, именно таким сном, который снится герою «Времени печали» с обычной русской фамилией Иванов (Валерий Приёмыхов): он засыпает в самолете и глубоко и надолго погружается в мир сновидений, точнее, снов-воспоминаний. Так, посредством совершенно кинематографического, неоднократно опробованного и абсолютно надежного приема, Иванов возвращается в свое деревенское отрочество.

Потерянная во времени и пространстве (в самом конце неработающей железнодорожной ветки) деревня, в которой развертываются сцены прошлого, представлена на экране с нежной ностальгической иронией. Юный Иванов (Петр Васильев) наблюдает как пятеро друзей пьют самогон и готовятся к торжественному закланию свиньи Машки.

Хотя они представители пяти этносов – русский Гриня (Сергей Паршин), татарин Жиббаев (Михаил Светин), еврей Саша Шмуклер (Семен Стругачев), цыган Яшка (Виктор Демент) и немец Вильман (Юрис Стренга), – такой набор не имеет того символического, патриотического значения, которое вменялось, скажем, концовкой «Падения Берлина» (1949) Михаила Чиаурели, когда показательная группа солдат из разных республик Советского Союза штурмует Рейхстаг.

Напротив, персонажи «Времени печали», как выясняется далее, практически забыли о своем культурном наследии и утеряли связи со своим индивидуальным национальным прошлым. Зато всех шестерых дополнительно объединяет неразделенная любовь к местной «чокнутой» красавице Ляле (Марина Левтова).

И тут, в эту вялотекущую идиллию врывается заезжий землемер с редким именем Мефодий, миссия которого заключается в том, чтобы их всех разбудить и пробудить в каждом из них волю к действию.

Мефодий, сыгранный тонко, тихо и, вместе с тем, внушительно Петром Мамоновым – настоящая загадка. Этимология его имени предполагает в нем человека метода, мерителя порядка. Соответственно, по профессии он – землемер, меритель земли, и оказывается в этой забытой богами и временем деревушке с тем, чтобы проводить «дорожные изыскания».

Несмотря на то, что местные жители немедленно сообщают ему, что он отнюдь не первый, кто добрался сюда с такой же целью и что все его предшественники потерпели фиаско, Мефодий решительно отводит довод, что «опять ничего не выйдет», настаивая на том, что «вот именно здесь-то и выйдет», и продолжает методично забивать свои колышки.

Впрочем, это вовсе не единственный его талант.

Мефодий способен совершать потрясающие математические вычисления без бумаги, счёт или арифмометра.

Он говорит на множестве языков: по-татарски с Жиббаевым, по-немецки с Вильманом и на идиш с не понимающим его Шмуклером.

Он делает возможным всё, что кажется недостижимым и открывает в людях то, что было скрыто или зарыто долгие годы.

Так, Мефодий лепит из куска глины жабу, которая оживает и прыгает до тех пор, пока безжалостный архаический бог, неудовлетворенный своим творением, не возвращает ее в ту глину, из которой она родилась.

Сергей Сельянов и Михаил Коновальчук
на съемках фильма «Время печали еще не пришло».

Петр Васильев и Петр Мамонов
на съемках фильма «Время печали еще не пришло».

В IX веке его святой тезка дал русским новое начало: новую веру и новый, освобождающий алфавит. Как и его предтеча, Мефодий приносит с собой те же дары – знаки самоопределения, которые будут выражены в голосе, языке, вере.

Он учит Шмуклера петь «Ой, маме, маме, шлог мих нит...» («Ой, мама, не бей меня...») и открывает оперный голос у Грини, который теперь поет арии и песни, среди которых «Из-за острова на стрежень...» Дмитрия Садовникова, связывающая его не столько с бунтарем Степаном Разиным, сколько с самым началом русского кинематографа.

Когда лента «Понизовая вольница» («Стенька Разин») Владимира Ромашкова вышла в октябре 1908 года из киноателье Александра Дранкова на экраны российских «электрических театров», зрителей усердно призывали петь эту песню прямо во время просмотра на протяжении всех 6 минут 14 секунд прокатного времени.

Собственно, Мефодий и сам не чурается кинематографических сравнений. В разговоре с Ивановым он рассказывает о человеке, который «захотел посмотреть все события наоборот». «Как в кино», – замечает Иванов. «Да, как в кино...» – подтверждает Мефодий и дальше поясняет, что цель его приезда и заключается в том, чтобы, как в кино, остановиться на определенном образе, а после крутить пленку в обратную сторону.

Так авторы фильма намекают на уникальную способность кинематографа «остранить» и обновить зрительский взгляд на мир.

Помимо «голоса» Мефодий дарит всем местным обитателям «язык».

Жиббаев берется изучать азбуку для слепых, Вильман начинает изъясняться на родном немецком, а Иванов и вовсе обнаруживает, что умеет говорить по-французски – на языке, которому никогда не учился.

Наконец, Мефодий заставляет их обрести «веру», осознать ее «на новый лад», тем более, что вера, которую он проповедует, не принадлежит ни одной культурной традиции, его вера «надкультурна». Это – «общая вера», единая для всех и каждого: «Бог один, просто облики Его разные в разных местах», – поясняет Мефодий. – «Суть у любви одна, а тропы... разные». «Общая вера» нужна для того, чтобы ответить на едва ли не главный вопрос: в чём заключается смысл жизни?

По Мефодию: вовсе не в борьбе, как привыкли считать, а – в «счастьи». Со всеобъемлющей толерантностью он растолковывает, что счастье заключается, прежде всего, в осознании своей «предназначности»: чтобы быть счастливым, человек должен узнать, понять и принять свою сущность и уже никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не предавать ее. Коли ты вор или убийца, то смирись и живи им, ибо каждому есть место в «человеческом муравейнике» – наставляет Мефодий.

Однако в опознании пророка можно и ошибиться: а вдруг Мефодий – это всего лишь юродивый, шарлатан, искуситель, иллюзионист, который «гонит тюльку», вооруженный старыми толстыми книгами, нотами Бетховена в шрифте Брайля («в темноте можно читать»), да восточной эротической небылицей, которая вызывает и дикое дуновение ветра, и истерический вой животных, и целое светопреставление?

Возможно, что и обещание, сделанное им в «большой день» («Сегодня я сведу, наконец, все концы»), когда он велит всем шестерым собраться снова через 20 лет, чтобы созерцать солнечное затмение, которое положит в этом месте и в это время начало эре Водолея («Вот отсюда начнется... Прекрасная будет жизнь»), – не более, чем очередной трюк, обманчивая мистификация, рассчитанная на доверчивых простаков.

Иванов – ученик Мефодия: он всюду ходит с ним и во всем помогает ему. Вопреки его сомнениям («Да не, я и рисовать-то не умею...»), Мефодий убеждает его, что он художник. Как мы узнаём в прологе фильма, настоящим художником Иванов так и не стал, зато стал высококлассным фальшивомонетчиком.

Разочарованный в любви и не нашедший себя в искусстве, он бежит из дому, перед этим смяв вылепленную им (но выглядящую, как каслинское литьё) статуэтку Дон Кихота совершенно таким же жестом, каким Мефодий превращает жабу обратно в комок глины.

Именно разочарование и общее ощущение загнанности заставляют Иванова отправиться странствовать в свое прошлое, поскольку главный дар Мефодия, исходившего немало дорог, – это дар странствования, возможности освобождения от бытовых и умственных уз, неслучайно он бросает между делом: «Все мы – странники».

Так народ-странник, который принудили стать домоседом, и оставаться им на протяжении десятилетий, наконец, получил разрешение стронуться с места и увидеть другой, прекрасный новый мир.

Путешествие, едва оно стало возможным, обернулось ключевым русским мифом перелома 1980-х – 1990-х годов, и множество фильмов детально, подчас даже избыточно фиксирует эту первую (иногда восторженную, но чаще надрывную) встречу между неожиданно выездными пост-советскими гражданами и большим миром вне СССР.

Вдохновленные рассказами Мефодия, все шестеро покидают родную деревню и отправляются странствовать с тем, чтобы осуществить свои мечты – разные, и сильно разнящиеся, но подчиненные общему порыву. «Мотать отсюда надо!» – восклицает Гриня, а Саня Шмуклер, получивший «еврейскую визу», утверждает, что чувствует как «кровь пастухов и философов» пульсирует по его венам и стучит в его сердце.

Когда они снова собираются ровно 20 лет спустя, как предписывал Мефодий, и рассказывают друг другу сказки своих странствий, выясняется, что путешествие принесло им одни разочарования, мечты никаким образом не осуществились и вовсе, но за всё пришлось дорого заплатить.

Вопреки надеждам Грини, Большой театр его не принял, а карьера эстрадного певца безжалостно бросала по всему миру. Где-то в Африке он нашел загадочную Лолу, которая стала его спутницей: «она мне, как родная», хоть и не говорит «ни бельмеса по-русски».

Как ни странно, из Израиля возвращаются двое: Шмуклер и Жиббаев. Последний был принят там «как тоже обрезанный» и достиг высоких военных чинов, защищая историческую родину Шмуклера, который сам не воевал, а «мыл посуду у Цехадовича». Только вот Жиббаева рассчитали не так («в шекелях, а их никто не принимает»), и бесконечная, никогда не прекращающаяся война его совсем изнурила.

Яшка был в Индии, откуда произошли цыгане, но попал он туда только на обратном пути в Россию, после освобождения из афганского плена.

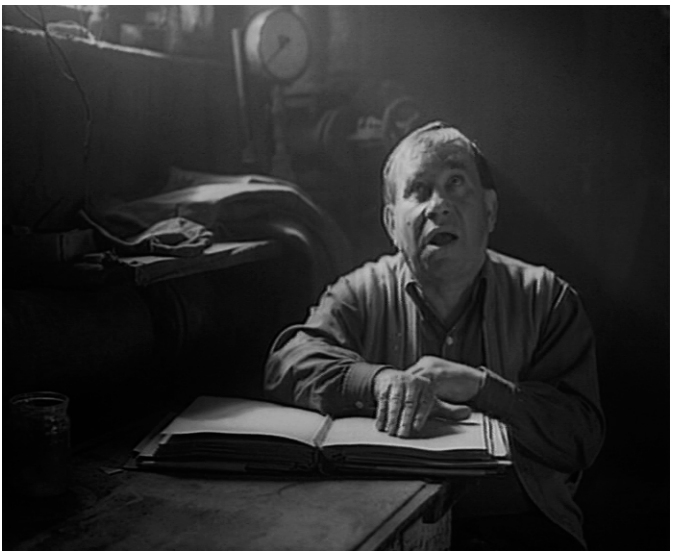
А Вильман, Генрих Вольфович, окончательно забыл русский язык и демонстративно отказался от водки в пользу дешевого виски.

Крепко отпраздновав встречу, друзья, как полагается, крепко засыпают и пропускают и великое затмение, и начало эры Водолея...

Идея разочарования достигает в фильме своего апогея в последней повествовательной связке: вернувшись из снов-воспоминаний, Иванов открывает глаза в самолете и видит Лялю, любовь своей юности, в форме стюардессы. Здесь и начинается подлинное странствие Иванова, который вызывается угнать самолет и доставить свою (мнимую) возлюбленную в столицу Франции, вызывая к жизни еще один русский миф – о Париже, как о самом баснословном из всех городов мира. Впрочем, сама барышня, съязвив «я не Ляля... меня зовут Соня», не впечатляется героически-заманчивым предложением Иванова: «В Париж? Меня уже четыре раза возили в Париж. Каждый раз заканчивалось Жмеринкой или Жлобиным».

Пассажиры же все, как один, встречают новость об угоне самолета во Францию с восторгом. В иллюминаторе мы видим Нотр-Дам и Эйфелеву башню, но кадры, снятые с высоты птичьего полета (а их немало в фильме), могут оказаться такими же обманчивыми, как обещания о наступлении прекрасной эпохи.

Так и здесь: самолет приземляется, и обнаруживается, что аэропорт сделан из картона, башня вырезана из фанеры, а Париж – просто фикция, муляж, дурная декорация, скрывающая солдат с автоматами, которые начнут полосовать очередями посадочную полосу, Лялю-Соню и Иванова под унылый звук жестокого романса «Окрасился месяц багрянцем...».



Михаил Светин, Марина Левтова и Петр Мамонов
на съемках фильма «Время печали еще не пришло».

По подобающей иронии судьбы, авторам фильма пришлось сменить первоначальное название картины «И умереть в Париже...», чтобы не возникло путаницы с другими фильмами этих лет: «Невестой из Парижа» (1992) Отара Дугладзе, «Увидеть Париж и умереть» (1992) Александра Прошкина и «Окном в Париж» (1993) Юрия Мамина.

Все ключевые мотивы в фильме – обмана, потери иллюзий и разочарования, – взаимосвязаны. Ничто не является тем, чем казалось первоначально: надпись на могильной плите выбита с ошибкой, а на ювелирно изготовленных рублях Иванова фальшиво развевается новоучрежденный российский триколор.

Ни один из персонажей не является тем, кем предстает в начале.

Татарин Жиббаев становится израильским генералом. Ляля не признается, кто она («это мы уже проходили»). Борткоманда героически вяжет невиновного. Левитация Яшки после Индии – подвох. Париж – никак не Париж. Глина, которую Мефодий дарит Иванову, толкая его на новый жизненный путь, поочередно становится жабой, чугунной статуэткой, самолетом, пистолетом, пока не сдастся времени и обстоятельствам – на самом пике угона самолета в руке Иванова «Стечкин» начинает плавиться, выдавая непреложную несостоятельность этой затеи.

Через 20 лет после выхода на экран «Время печали еще не пришло» смотрится как ключевой фильм 1990-х годов, предоставляющий набор аллегорий и метафор, призванных отразить резкие перепады, которые претерпела позднесоветская культура и сформированное ей зрительское (и читательское) восприятие: от ограниченности застойных 1970-х, сквозь неожиданные приключения перестройки, драму и надежду 1991-го года и отрезвляющую реальность 1993-го, до начала нового периода разочарования – как историей, так и географией. Фильм ненавязчиво показывает, что за любое знание, за любой опыт приходится платить.

Однако, что именно думают обо всём этом сами авторы, хитро скрыто в недосказанности.

Для тех, кто смог посмотреть, точнее, поймать «Время печали еще не пришло» тогда в самой середине 1990-х, – эта картина, вне всякого сомнения, разошлась на пословицы. Это было даже не кино, скорее, это была проза. Вообще 1990-е, переполненные претензией на литературу, но ей совершенно небогатые, останутся в российской культурной истории как довольно уникальный период, когда кинопроза, то есть, киносценарии или проза, написанная для экранизации, заменила собой литературу.

Мудрая и остроумная «маленькая повесть для кино» Мих. Коновальчука сочетает в себе лирическую осведомленность об утешающей силе памяти с лишенным иллюзий признанием разрушающей силы времени

и невероятной хрупкости мечты и надежды. Ее название «И умереть в Париже», как и ее эпиграф, в котором рассказчик признается, что и «чукча Ли Бо» и бабочка, которая «валяясь в траве, думала, что она Ли Бо», – всего лишь тени на серой стене его сарая, задают тон ретроспективной меланхолии, настраивающей на раздумья и воспоминания.

История начинается там же, где и фильм, – в мастерской уже взрослого Иванова, главного повествователя и героя фильма с грустными глазами.

Именно здесь мы впервые встречаемся с Мефодием, бомжом, найденным на помойке, и наблюдаем, как он душит голубей – этот хемингуэевский деликатес, – и варит из них суп. Обсосав, как следует, косточки, он строит из их черепушек горку, похожую на картину Василия Верещагина «Апофеоз войны» (1871). Описанный эпизод, замечательно восстанавливающий мефодиевскую картину мира, опущен в фильме, где землемер и пророк Мефодий появляется только во сне (и в воспоминаниях) Иванова.

При этом, отсутствие этого эпизода в прологе позволяет Мефодию обрести по ходу фильма то очарование и неоднозначность, которым он поражает деревенских обитателей, особенно, после сцены на чердаке, где он вскрывает фанерный ящик с пересланными им самому себе книгами.

Точно так же и Ляля в исключенной из фильма сцене в мастерской, где она представляется Иванову такой, «как будто ее накачали воздухом», в фильме сохраняет свою таинственность и женственность сразу после первого появления – и в воспоминаниях о незабвенных временах, когда ее неуловимая красота сводила всех деревенских с ума, и в образе саркастичной Сони-Ляли в салоне обреченного самолета.

Головокружительные тональные и жанровые сдвиги в повествовании, подрыв серьезных размышлений коварным остроумием и народной комедией сильно понижают степень читательской и зрительской уверенности в искренности ответов на задаваемые здесь вопросы.

Возможно, это притча, которая празднует очередное русское пробуждение, где считается, что разочарование и утеря иллюзий – это и есть та цена, которую приходится платить за выход в большой мир?

А может быть, напротив, авторское чувство иронии настолько высоко, что Сельянов с Коновальчуком готовы признать, и даже прославить, то, что ни любовь, ни искусство, ни новые идеи, ни новые места никогда не смогут удовлетворить русского мужика, который навечно обречен снова и снова впадать в крепкий обломовский сон.

*Джулиан Граффи*
*Андрей Устинов*

# Содержание

Предисловие
*Алексей Герман*
*9*

День Ангела
*11*

И умереть в Париже...
*33*

СТВ – 25
*87*

Послесловие
*Джулиан Граффи, Андрей Устинов*
*95*

**Коновальчук М., Сельянов С.** Время печали еще не пришло. (Серия «Tesseræ». Т. 2). – Сан Франциско: «Аквилон», 2016. – 110 с., илл.

Mikhail Konoval'chuk, Sergei Sel'ianov. *The Times of Sorrow Have Yet to Come*. (Tesseræ. Vol. 2). San Francisco: Aquilon Books, 2016. 110 p.

Published by Aquilon Books
1363 24th Avenue
San Francisco, CA 94122, USA
abooks@gmail.com

1e издание

ISBN-10: 1523303034
ISBN-13: 978-1523303038

М. КОНОВАЛЬЧУК,

С. СЕЛЬЯНОВ

# ДЕНЬ

Режиссерская разработка С. СЕЛЬЯНОВА

«ЛЕНФИЛЬМ»

A·Q·U·I·L·O·N
А·К·В·И·Л·О·Н